Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Жил отважный капитан

Река была широкая, текла покойно, без всяких глупостей, и течения в обычные дни видно не было, бывали дни, даже вечера, особенно вечера, когда в ней отражалось высокое, желтоватое здесь небо, отражалось так, как не отражается в реках, а только в заводях. В такие вечера сильно звенели комары. Течение обнаруживалось, когда шел сплав, бревна двигались с шипением, которое никогда не прекращалось, река становилась угрюмой, и заезжего человека охватывал страх, непонятно, впрочем, отчего. Может, оттого, что казалось, после этого сплава лесов не останется вовсе, но они стояли тяжелые, черно‑зеленые.

– Город был деревянный, – рассказывает спокойный доброжелательный голос, – не в том смысле, в котором бывают деревянные города, здесь из дерева было все: и на тротуары, и на мостовые шла струганая пятидюймовка, которой в какой‑нибудь Астрахани и вовсе цены нет. И сараи, и дома крыли доской в два‑три слоя. Красивый был этот деревянный город с единственным проспектом высоких каменных домов. Сказка, да и только, и горел этот город тоже, как в сказке, весело, без всякого там черного дыма, пламя было ярко‑желтое до неба, небо же становилось красным. Ну где еще сыщешь в России такое место, где при бомбежке горят мостовые?

Застывшая в неподвижности моментального снимка улица, высокие деревянные дома, высокие крылечки, широкие окошки. Мелкие языки пламени возникают по краям фотокарточки, горят, горят на ней дома, домишки, гудит пламенем экран.

– Зажигалочки мои, цветики степные, что шипите на меня, темно‑голубые, – продолжает тот же голос. – Позарастали стежки‑дорожки, где мы гуляли после бомбежки… До войны командировочные, не успевшие внедриться в неторопливую жизнь, острили про этот город: «Доска, тоска, треска». Трески не было, доски горели, и было не до тоски, какая тут уж у Таси тоска, вспомнишь ночью папу, маму или Игорешку, схватит, сожмет сразу в двух местах: в желудке и повыше. Груди у Таси высокие, где‑то там, за ними, так схватит, и лежать нельзя, надо сесть, а сесть сил нет, и заснешь.

Тася жила по подселению в доме отставного капитана Чижова. Дом был большущий, эвакуированных видимо‑невидимо, и бывший капитан был у них за царя. Тася была одна, и место он ей выделил в тупичке коридора, сундук, столик да окошко – все ее палаты. И одеяло дал и занавеску.

– К лету сорок четвертого пошло полегче, война здесь откатилась на север и грохотала в угрюмых холодных морях, ну прорвется какой‑нибудь высотный гад, пронесется над городом или пирсами, что это?! Да ничего, если сравнить.

Каждый день на их улице кто‑нибудь получает вызов домой. Тася вызова не ждала, из всей довоенной жизни остался в голове только ленинградский адрес, и сны стали особенно мучительны. Ну что ж за сны такие, господи!

…Идет папа по длинному коридору в пижаме и потирает длинные белые пальцы.

– Ах, какой сегодня день дивный…

Мама у стола в ночной сорочке в звездочках. Тася не может этого вынести и бежит по деревянной лестнице на второй этаж, там антресоли с широченными окнами на крышу и мастерские – портреты, портреты в станках.

– Тася, девочка моя, – удивляется мама.

– Дивный, дивный день, – повторяет отец, уходя по коридору, он в тапочках.

– Но ведь его нет на свете, – говорит Тася про отца.

– Как? – пугается мама.

– Нет, – кричит Тася, – и тебя нет, и Игорешки, я одна, одна!..

– А где же мы? – удивляется мама, она напугана, и улыбка у нее жалкая. – Какая ты странная девочка, право… Это у тебя возраст и страхи.

Тут портрет – летчик в шлеме и с огромным букетом сирени – возьми и перебей:

– Ты куда, Тась, мамины часики положила?

…Проснулась от горячечного сна, а часики и впрямь тютю. Тася всегда была не прочь порыдать, но мамины же. В коридоре бабка Глафира сказала, что это дело Киргиза, чтобы Тася попробовала, но построже. Тася взяла полено и пошла на большой погреб, который звали артиллерийским, хотя, конечно, никаких снарядов там не было, просто здоровый, заросший бузиной погреб, и все.

Киргиз – кстати, никакой он тоже не был киргиз, а Вовик Киргизов и русский – лежал в высокой траве с ромашками, в желтых американских ботинках на картонной подметке, и крутил Тасины часики на лакированном ремешке.

– Отдай часики, – сказала Тася, задохнувшись от быстрой ходьбы, – какой выискался…

– Вот ты меня огорчаешь, – Киргиз опять крутанул часики.

– Гад какой, – сказала Тася, – я ж серьезно, Вовик…

– И я серьезно, – сказал Вовик, – пять, пятнадцать, двадцать пять… – на местном языке это обозначало бессовестное предложение, у которого нет приличного литературного эквивалента.

Тасе стало жарко, кровь бросилась в шею и лицо, надо было уйти, но часики же.

Вовик поймал полу крепдешинового платья, тоже маминого, потянул, и платье лопнуло, так что живот оказался голый. Тогда Тася подняла полено и убила Киргиза, двинула в лицо, как трамбуют булыги на дороге. Вовка выкатил белки, проскреб по земле картонной подметкой и затих. Тася встала на четвереньки, послушала Вовкин пульс, но пульса не было. Не нашла она его.

Небо было яркое, жаркое, как на юге, летал шмель. В руки Таси въелась краска, чтобы смыть, нужен был керосин. Тася сидела на земле и плакала. Жалости к Вовке не было, и страха, что посадят, не было, хотелось одного: скорее бы.

«Вот моряк подходит к дому, всем ребятам незнакомый».

Ботинки приятно скрипели по дощатому тротуару, кожаные новые ботинки – и не с дырочками, а с крючками, и эти ботинки, и эти крючки были непременным свидетельством того, что их хозяин, невысокий худенький старший лейтенант в парадном кителе, был не кто иной, как капитан корабля. Дырочки и крючки – разница вроде небольшая, ан нет. Старшему лейтенанту Анастасию Чижову был двадцать один год, в чем не было ничего удивительного, он был дважды орденоносец, и это весной сорок четвертого не было такой уж редкостью. Но накануне сегодняшнего жаркого воскресного дня Анастасия Чижова вызвал контр‑адмирал, командир флотилии, и вспоминать об этом было приятно.

В кабинете у контр‑адмирала мягко били желтого дерева напольные часы, подавальщица салона в белой наколке принесла крепкий чай с лимоном, командующий встал и поздравил Чижова с назначением командиром патрульного судна «Зверь».

– Хорошо воюете, товарищ старший лейтенант, – сказал командующий, – хорошо бьете фашистов. Победа у нас с вами, товарищ старший лейтенант, теперь не за горами, – и крепко пожал руку.

И, отвечая положенные по уставу слова, Чижов испытывал счастье, а адмирал понимал, что испытывает Чижов, и тоже был рад.

Начальник Военторга, капитан береговой службы, сказал точно как командующий:

– Хорошо воюете, товарищ старший лейтенант, хорошо бьете фашистов, – и выдал ему отрез, шелковое белое кашне, новые перчатки, две пачки «Северной Пальмиры» и две – «Кэмела» и рядом поставил эти самые ботинки. – Подметки, как довоенные, спиртовые, – добавил он, – только для капитанов, и новинка – крючки, чудная вещь, – и показал, как ловко накидывает на эти крючки шнурок.

Здесь же, но уже в свободной продаже Чижов купил большой гранитолевый чемодан, куда все сложил, и зачем‑то гамак.

И так он шел по жаркой улице мимо желтых одинаковых двухэтажных домов с большими окнами. Он, Чижов, был молод‑молод и уже капитан‑капитан. Так и ботинки скрипели: ка‑пи‑тан, ка‑пи‑тан. На этой улице прошло его детство, Анастасием его звали, как деда, тоже моряка и капитана, и это имя доставляло ему много огорчений. И здесь, и в училище его звали Тосей, и он как раз подумал, что Тосей его теперь вряд ли кто‑нибудь назовет, как вдруг раздался голос:

– Тося, здорово, морячило, – голос был веселый, с хрипотцой.

Заборов здесь не было. У высокого чисто вымытого крыльца Чижов увидел Валерика Оськина, товарища далекого детства. Валерик отвоевался в сорок втором, после тяжелого ранения в ноги.

– Здорово, Тосик.

– Здорово, Валерик.

Полагалось здороваться за руку. Обоим стало приятно.

– Поздравляю от лица службы, – Валерик всегда все знал.

Закурили «Кэмел». Небо было высокое, ветер теплый, крупные ромашки росли у ног. На отглаженной форменке Валерика – Красная Звезда, под орденом – суконочка, от этого он виднее, и золотая нашивочка рядом.

– У нас баня освободилась, – сказал Валерик, – просим париться. Когда баню заселяли, была эвакуация, а когда баню освобождают, то это уже реэвакуация… – Он поднял палец: – Красивее звучит…

Покурили, глядя на голубые дымки.

– «Звездочка» или «Пальмира» – все ж зовущие названия… Со смыслом… – сказал Валерик. – А «Кэмел» – это верблюд и ничего больше…

– А «Дукат»? – спросил после паузы Чижов, до дома было близко, но не оставлять же Валерика, не поговорив.

За холмом стало вдруг неспокойно, визгливо кричали женские голоса.

– Убили!.. Киргиза убили… Э‑э‑э‑э‑э!..

Людей тут жило так много, и ссоры были так часты, а формы их столь разнообразны, что мало кто всерьез относился к таким формулировкам, как «убили», тем более что все скандалы обычно заканчивались мирно.

– Э‑э‑э‑э‑э, – передразнил Валерик, запирая дверь и вешая латунного чертика, показывающего нос замку, что означало: хозяин ушел. – Мы теперь в танковых войсках.

Так Чижов поднялся на холм и – с гамаком, чемоданом, толкая в гору Валеркину коляску на велосипедных колесах, – подошел к своему дому взмокший, как конь. Коляска была лакированная с латунным альбатросом впереди.

– Мы красные кавалеристы, – пел на ходу Валерка, двигая рычаги, и курил «Кэмел».

Дом Чижовых, построенный дедом Анастасием, был высокий, с флюгером на крыше. Окна круглые, вроде корабельные, лестницы крутые, как трапы, с медяшкой, эвакуированные с трудом лазали по ним, сарай во дворе звался каптеркой. Дед Анастасий сызмальства приучал сына, а после и внука к морю. Скандал, когда они подошли, уже выдохся, только эвакуированные тетки ходили быстрее, чем обычно, да башка у Киргиза была разбита, губа сбоку поднялась, и он прикладывал к ней тряпочку с мокрой землей. Дети пускали в луже рыбий пузырь. С Валериком Киргиз поздоровался за руку, втянул воздух и попросил закурить «Верблюда».

– А молодого фулигана везут с разбитой головой… – пропел Валерик.

– Смотай за уполномоченным, Валерик, – из сарая вдруг выскочила эвакуированная старуха и указала на Киргиза ковшиком, – сироту обижает, и притом ленинградку… Пусть даст ответ…

– Таська Желдакова, буржуйка недобитая, – сказал Киргиз, засовывая Валеркин чинарик под оттопыренную губу.

Чижов сигареты ему не дал, не по чину И беседовать с ним было тоже не по чину. Это была его, Чижова, улица, его школьный корешок Валерка, здесь он был Тосей, но было и то, что он – старший лейтенант и командир боевого корабля, поэтому он посмотрел на обоих прозрачными, всегда, когда он злился, бесцветными глазками. И этот взгляд сразу образовал дистанцию в морскую милю.

– На Кузнечихе негры ходят, – сробел Киргиз, – поехали.

– Кто поедет, а кто побежит рядом, – сказал Валерка и покатил с холма.

– У Анны‑Карги дрифербот на камни засадили… Видал? Преступная халатность, я понимаю, днище у них подволокло, – задыхаясь, говорил старик Чижов, поднимаясь за сыном по крутому трапу на второй этаж, там была единственная оставшаяся им комнатка. Неожиданно он охнул и прихватил сына за ботинок.

– Это что ж, Анастасий, – сказал он негромко, – выдали или сам разжился?!

Это был вопрос, которого Чижов ждал.

– Выдали.

Прямо перед ним был коридор, на сундуке сидела Тася и зашивала платье на животе, грудь у нее была высокая и мешала работе. На уровне глаз Чижова были ее ноги, крупные, в пушке, в носках с каемочкой. Чижов никогда не вспоминал о Тасе вне дома, но, когда бывал дома, всегда ощущал ее присутствие. Тася вообще легко краснела, сейчас же лицо ее и шея покрылись красными пятнами. Ну что за день такой!

Отец снизу крепко и любовно держал Чижова за капитанский ботинок, он сидел на ступеньке, и взгляд его, устремленный наверх, был кротким и счастливым.

Чижов не чувствовал, что лицо его медленно заливается краской.

– Здравия желаю, – он торчал, как черт из люка, на голове была фуражка в белом чехле, ему хотелось подняться, чтобы стали видны ордена, но отец снизу все держал его за ботинок.

– Глафира, – вдруг заорал старший Чижов, – ведьма, чертовка горбатая!

– Ну чего? – сразу высунулась из кухни Глафира.

– Беги к Клыкову, скажи: у меня сын капитан, накось, пусть выкусит, – и заплакал.

Ночью ему приснилось, что его, Чижова, скульптура стоит на улице Павлина Виноградова. Он заставил себя проснуться, было четыре, в пять начинал ходить трамвай. Чижов попил воды из чайника и подошел к окну.

Ночь была прозрачная, за перекатом крыши светилась Двина. Он закурил, толкнул окошко и услышал звон комаров, шепот. И увидел на скамейке в тени куста Киргиза и женщину из Валеркиного дома. В лунном свете шея у него была невозможно белая. Он заставил себя отойти от окна и, отходя, почувствовал, что идет каким‑то строевым шагом. Китель с орденами висел на стуле, и в лунном свете ордена казались ледяными. Он зашнуровал ботинки, взял чемоданчик, прошел мимо спящего отца, мимо закутка в коридоре, где за занавеской спала Тася, и дальше, по лестнице‑трапу, вниз.

На спускающихся капитанских ботинках идут титры картины.

Входная дверь сама открывается, за ней белое струганое крыльцо, двор в мягкой пыли, старый пес Пиратка у ворот, резкий в тишине звук первого трамвая и последний титр: «Жил отважный капитан».

Скульптор Меркулов был грозен и криклив, но до самозабвения обожал морских командиров, любил говорить про типы кораблей или о противолодочных зигзагах. Он был старший лейтенант береговой службы, но при прибавлении двух последних слов «береговая служба» огорчался, и поэтому к нему так не обращались, его любили. И из‑за этого, и из‑за маленького роста за глаза его звали «полковник‑малолитражка».

– Вон туда, – строго прокаркал Меркулов и перепачканной гипсом рукой показал на вентилятор в верхнем углу, – смотрите на торпедоносец… Что вы все на себя смотрите?!

Бюст был бесформенный, белый и негладкий, и смотреть на него Чижову было неприятно.

«На Глафиру похож, – сказал про себя Чижов, – пропал мальчик – смехота на весь флот», – и, вздохнув, уставился в осточертевший угол.

Наверху пели, шла «Волга‑Волга». Художественные мастерские находились в подвале Дома флота, как раз под сценой. Пожилой старшина второй статьи, помощник Меркулова, пронес ведро гипса, от которого шел парок, взял тряпочку и протер неживой, похожий на гигантское бельмо гневный глаз Чижова – на бюсте, конечно.

– Может, его синеньким покрасить?.. – опять сказал сам себе Чижов и совсем затосковал.

– Вы суровость во взгляде дайте, товарищ старший лейтенант, – посоветовал нахальный старшина, – это ж бой все‑таки… – и поставил перед Чижовым кофе и блюдечко с двумя мармеладинками.

– Линейный флот отомрет сам собой, не так? – беседовал Меркулов.

Над головой задвигались, сеанс кончился.

– Разрешите быть свободным, – сказал Чижов и встал, – договаривались вместо кино, не правда ли?

Меркулов расстроился. Нахальный же старшина вроде нечаянно снял простыню с бюста командующего флотилией, и теперь все трое – Меркулов, старшина и командующий – глядели на Чижова. Брови у командующего были сердито сдвинуты, или так свет упал.

– Ждем вас на следующий, последний сеанс, товарищ старший лейтенант, – сказал Меркулов, ласково глядя на бюст командующего.

– Ебеже, товарищ старший лейтенант береговой службы, – сказал Чижов.

– Что? – не понял старшина.

– Если будем живы, – сквитался со старшиной Чижов, давая понять, кто из них точно останется жив, а кто и необязательно. – Примета так говорить, – добавил он и съел мармеладку.

В дверях у железной лесенки его уже ждал лейтенант Макаревич.

Вдвоем они шли по деревянным мосткам и пирсам. С Двины тянуло сыростью, квакали лягушки.

– Ах‑ах‑ах‑ах, – смеялся где‑то в темноте женский голос.

По реке прошел рейсовый, вода у пирсов захлопала, и заскрипели друг о друга бортами «охотники».

Макаревич засвистел про водовоза.

– Очень отличное кино, – сказал он и засмеялся.

Далеко на той стороне Двины небо осветилось было, притухло и стало медленно краснеть, и уже тогда торопливо застучала зенитка. Там был город. Налета не было, высотный бомбардировщик сбросил кассеты с зажигалками и уходил.

– Ах‑ах‑ах‑ах, – смеялся тот же высокий женский голос.

Доски пирса были желтые и казались маслянистыми. Чижовский «Зверь», как и пришвартованный к нему «Память Руслана», не были ни «бобиками», ни «амиками», так здесь назывались «охотники» и тральщики нашей или зарубежной постройки, а всего лишь «моряками», ибо лишь два с половиной года тому назад на их высоких трубах красовались красные буквы МР в белом кругу, что обозначало их происхождение: Мурманский рыбфлот, и клепка от этих букв не поддавалась ни краске, ни шпаклевке и вылезала. Ну да что до этого. Сейчас это были боевые патрульные суда с тридцатью краснофлотцами и старшинами на каждом, всеми пятью БЧ, и никто с соседних, военных по происхождению судов не посмел бы назвать их «трескачами».

– Опять Мурманскрыбфлот вылез, что с ним сделаешь, ничего с ним не сделаешь, – доложил маленький начхоз, – наварить сверху что‑нибудь, ей‑богу.

Чижов засучил рукав кителя, сунул руку в бидон с краской, с удовольствием понюхал и дал понюхать Макаревичу.

– Хорошая, Макароныч?! – сказал он полувопросительно. – Льном пахнет, а?

Макаревич вежливо понюхал, отставив тощий зад, чтобы не запачкаться.

– Боцман, – приказал он, – бензину для командира.

Пока Макаревич, он же Макароныч, сливал бензин из стеклянной банки, начхоз тут же стоял с ветошью наготове. Угроза воздушного нападения на флотилию миновала, на «Памяти Руслана» по трансляции замурлыкал эстрадный концерт с пластинки, и Макаревич стал шептать, повторяя интонации актеров.

– Говорят, лично Черчилль нашу «Волгу‑Волгу» каждую субботу глядит, – сказал начхоз, передавая ветошь боцману.

– Сми‑ирна! – крикнул вахтенный лейтенант Андрейчук, когда Чижов поднялся на борт своего «Зверя» и отдал честь кормовому флагу.

«Ты будешь первым, не сядь на мель. Чем больше хода, тем ближе цель» – завели на «Звере» пластинку.

Над морем стояла туманная дымка. Транспортов в конвое было два, да два пузатых тральщика, да три сторожевика, да «бобик» – большой «охотник». Радиосвязь здесь, в горле Белого моря, была нежелательна, флажные сигналы плохо читались, в ордере переговаривались фонарями, а если надо было – рупорами, что проще и быстрее. Суда в тумане – со вспышками фонарей, и криками, и спокойным плоским морем – чем‑то вдруг напомнили Чижову окраину Кузнечихи. «Зверь» шел в ордере замыкающим, позади была тишина, идти спать не следовало: место здесь было нехорошее.

Чижов сидел на табурете, привалясь кожаным регланом к теплой переборке, сквозь сон слушал, как Макаревич торопливым бесцветным голосом рассказывает анекдот. На стеклах световых люков лежала туманная водяная пыль, позвякивал на корме гак лебедки, звуки казались громче обычных.

– Значит, Чарли докладывает, – бубнил Макаревич, – слышу контакт, пеленг и все такое… Ну… Сэр ему в ответ: косяк рыбы… Чарли опять: сэр, так и так, контакт, пеленг… подводная цель. Тот в ответ: а я говорю, косяк рыбы… Ну… – Макаревич покашлял, сам засмеялся и закрутил головой. – В это время парагазовый след – торпеда, то да се, и они плавают… Сэр воду выплюнул и заявляет: а вот это уже подводная лодка.

– Так лодка была или косяк рыбы? – спросил Андрейчук.

Он уже подготовился. Макаревича любили, но не разыгрывать его было выше человеческих сил.

«Зверь» приблизился к транспорту, транспорт взял до Дровяного крупный и мелкий скот, на палубе за дощатой перегородкой промычала корова. Казалось, от транспорта, от всей его ржавой громады потянуло теплом и хлебом, с высоченной его кормы выплеснули ведро, вода плюхнулась, шлепок был звонкий.

– Значит, первые два раза был косяк рыбы, – сказал Андрейчук, – а потом уже лодка…

– Да нет, – заморгал Макаревич, – все время была лодка… Просто капитан – дундук… Во, – он постучал по упору обвеса.

– Нет, – сказал Андрейчук, – из анекдота это не следует. Товарищ командир, я прошу рассудить, Макаревич опять рассказал нежизненный анекдот… Давай, Макароныч, сначала, пусть командир послушает.

Сигнальщик тихо хрюкнул.

– Я слышал, но недопонял, – включившись в игру, сказал Чижов, – вызовите командира БЧ‑пять.

Пришел младший лейтенант Черемыш.

– Вот тут у нас спор вышел, – сказал Чижов. – Макаревич рассказал нежизненный факт. Давай, Макароныч.

– Значит, так… – добрый Макароныч весь подобрался, чтобы рассказать посмешнее. – Дело происходит на английском корвете, сигнальщик докладывает…

– Уточните тип корвета, – сказал Черемыш.

– Типа «Фишер», – заревел Макаревич, – какое это имеет значение?! Здесь юмор, анекдот, соображаешь? Я здесь гиперболу применяю, соображаешь?!

– Нет, – железным голосом сказал Черемыш, – не соображаю. Если «Фишер», то сигнальщик ничего не докладывает, на «Фишере» гидролокатор…

– Хорошо, – отступил Макаревич, – не сигнальщик, матрос докладывает… Сэр, докладывает, есть контакт справа на траверзе… Так может быть?

– Допустим, – великодушно согласился Черемыш.

– А сэр отвечает: косяк рыбы…

– Не может быть, – сказал Черемыш, – если локатор, то не может быть…

– Ну не локатор! – заорал Макаревич.

– Тогда не «Фишер».

– Ну не «Фишер», – плюнул Макаревич, – ну этот, как его? «Веномес».

– Валяй, – сказал Черемыш, – но только сначала… Значит, на корвете типа «Веномес» есть пеленг… Справа на траверзе…

– Ну да, – поддержал Макаревич, эти шутки повторяли с ним неоднократно, но он не мог к ним привыкнуть. – А капитан, понимаешь, дундук, это, говорит, косяк рыбы… А сигнальщик, то есть матрос, опять: справа на траверзе… Контакт. А капитан, понимаешь, дундук, во! – Макаревич опять постучал по обвесу и кротко поглядел на Черемыша, завоевывая в нем соратника. – Опять: косяк рыбы…

– Не жизненно, – сказал Черемыш, – он один идет или в конвое?

– Ну один, ну в конвое! – опять взорвался Макаревич.

– Как «ну»?! – рассердился Черемыш. – Две большие разницы!

– Ну в конвое!

– Надо бомбить, – подвел черту Черемыш, – как считаете, товарищ командир?

Чижов только кивнул, говорить он не мог, чтобы не рассмеяться.

– Значит, так, – беспощадно сказал Черемыш, – сигнальщик докладывает о контакте, командир играет боевую тревогу и пробамбливает из ходжихога район… Конвой переходит на противолодочный зигзаг… Валяй, Макароныч, дальше, что там у тебя?! Торпеда? Плавают они, что ли? Пока все жизненно, валяй дальше.

Черемыш выкатил глаза и внимательно уставился на Макаревича, наклонив к плечу длинное умное лицо. Макаревич поморгал и огорчился. Первым, схватившись за обвес и поджав ногу, захохотал Андрейчук, он всегда первый не выдерживал, потом засмеялся Чижов и вежливо захихикал боцман.

– Вестовой, – крикнул Черемыш вниз, – чаю командиру.

И тут же крикнул сигнальщик:

– Один твердо, право – сорок!

Не пронесло. Они подходили к точке рандеву, и мысль, что, может, на сегодня и пронесет, была у всех. С рассвета они шли в зоне действия немецких аэродромов в Варганер‑фиорде. Горловина Белого моря была плохим местом, надежда была на туман, который, как назло, всегда покидал их в самых опасных местах. И сейчас высокие мачты транспортов и сопла черных с приклепанными серпами и молотами труб торчали из этого тумана. Хуже и быть не могло, хотя бы они были не угольщики, эти транспорты. Суда охранения меняли места в ордере, захлопали синие с белым ратьеры, конвой перекрикивался рупорами, стало шумно, как на улице. На транспортах у длинных, похожих на задранные оглобли, в прошлом сухопутных зениток маялись расчеты, квадратные от капковых спасательных жилетов, потом вдруг стало тихо, и в этой тишине Чижов сначала увидал ввалившийся в туман первый «лапоть», а потом и услышал голос сигнальщика, кричавшего про этот самый «лапоть».

– Следить по левому борту, – приказал Чижов в мегафон, дал предупреждающий ревун и прихлебнул кипяток, и еще раз, и еще, нарочно спокойно отмечая на себе взгляды носового расчета, и боцмана, и Макаревича. – Первый «лапоть» предполагаю отвлекающим, – он говорил в мегафон и видел, как Андрейчук кивает ему от носового орудия. И уже без мегафона добавил Макаревичу: – Не попрет он, не зная, что здесь, в тумане, жизнь тоже одна, никто не хочет…

Чижов вылил кипяток в урночку, аккуратно положил стакан в сетку, стакан был тонкого стекла с буквами МР и рыбкой – наследство от прошлых хозяев.

«Лапоть» – так в просторечии назывался здесь поплавковый торпедоносец типа «Хейнкель‑Арадо» – все ходил в тумане, проявляясь, как на фотобумаге. Наверху, на транспорте, ударили зенитки, чего не следовало делать, но как объяснишь людям на этой огромной неповоротливой мишени, что беды надо ждать с другой стороны. И Чижов выжал ручки телеграфа до отказа, чтобы отвалить от транспорта.

Вон они!

«Лапти» выходили на транспорт слева, с противоположного Чижову борта. Они шли втроем строем пеленга, иногда исчезая за мачтой или трубой, мощные, с поплавками, похожими на тараны, и торпеды у них под брюхом были зеленые с ярко‑желтыми головками. На транспортах тоже увидели их, капитаны врубили сирены, транспорты закричали, призывая военные суда обратить внимание на их беду. Чижов видел, как к торпедоносцам полосами белого разряженного воздуха тянутся трассы с «охотника» и левых конвойных судов, затем он увидел, как два торпедоносца одновременно клюнули носами и бросили торпеды, следующий миг почти совпал: грязно‑серый, почти черный столб воды из‑за левого борта транспорта, светлое, с нависшими тяжелыми поплавками брюхо самолета, присевшие враскорячку у орудия краснофлотцы, орущий Андрейчук, трясущийся как в падучей старшина Бондарь у «бофорса» в мягком кожаном сиденье с лапами «бофорса» на плечах и клочья, клочья самолетной обшивки и поплавка, отвалившихся прямо на глазах.

«Зверь» не мог спасти транспорт, он мог отомстить, это было не так уж мало, и теперь очередь крупнокалиберного двухствольного «бофорса» буравила «лапоть» от длинной плексигласовой кабины до широкого с толстым стальным поплавком хвоста. Кричал, окутываясь шарами белого едкого пара, транспорт, пузатый борт его поднимался, открывая ярко‑красный травленный суриком бок, с которого низвергались потоки грязной воды. Клапан сирены был, очевидно, заклинен, и транспорт не мог замолкнуть. Подбитый «лапоть» еще раз клюнул носом, тоже дал крен, почти неуловимо задел белый барашек на воде. Металлическое крыло из тонких стальных переплетений треснуло и легко, будто самолет стал немыслимо, невообразимо хрупким, отвалилось, изуродованный «лапоть» плюхнулся, подняв волну и сминая поплавки, а над ним кругом, огрызаясь веселыми вспышками, ходили еще два, не подпуская к нему корабли. Оторванное крыло с мотором вопреки всем законам не тонуло еще несколько секунд, потом сразу же ушло под воду, а из изуродованного «лаптя» вывалился желтый пухлый спасательный плотик, и не на него, а на поплавок, а потом уже на него стали выбираться летчики, весь экипаж. Чижов представлял, что все они переломались от удара или хоть кого убило «бофорсом», но они вылезали все, их было даже больше, чем надо, и это было удивительно. Один из верхних «Арадо» резко снизился и вдоль борта «Уральского рабочего» пошел на посадку. Третий, не сбросивший торпеду, шел кругом, стреляя, не давая судам охранения выйти из ордера. Расчет у немецких летунов был вполне осуществимый.

Попробовал «охотник» отвернуть, и вот он тут как тут, заходит на транспорт со своей желтой торпедой под брюхом.

Стрелять по севшему «Арадо» – угодишь в свой же транспорт, вон его борт за машиной, как ни вертись, а в прицеле совмещаются. На плотике гребут к «Арадо» руками, короткими дюралевыми веслами, шлемами, запросто успеют, подберет он их и улетит, позор на всю флотилию, мало на флотилию – больше бери.

Верхний «Арадо» опять ударил из пулеметов по палубе «Кооперации». Борт завален, палубы не видно, что натворил – неизвестно, но уж что‑нибудь натворил.

– Ныряющими, – передал в мегафон Чижов.

«Зверь» бил по плотику, по единственно возможной мишени, однако ничтожно малой для тяжелого морского орудия.

Учитывая маяту волны, навели через ствол, в дульной круглой дыре возникал плотик, люди на нем, потом серая вода, небо, опять вода, опять люди. Вытянувшийся на цыпочках у дульного среза Андрейчук пытался поймать сочетание колебаний носа «Зверя» и полузатопленного плотика, пушка опять ахнула, снаряд был тяжелый, ныряющий, для пугания подводных лодок, гильзу выплюнуло на палубу, из ее горловины вытек тяжелый дым, а на поверхности воды уже ничего не было. Хоть бы клочок желтой прорезиненной ткани! Серая студеная вода, белый торпедоносец, взлетающий с этой воды, да веселые вспышки выстрелов из‑под его крыльев. Давай стреляй, чего уж теперь. Самолеты уходили, вырубились сирены на «Кооперации», и сразу стало слышно, как переговариваются через мегафоны суда, «охотник» зачаливал потерявшую ход «Кооперацию», там в трюмах гулко били кувалды, лица краснофлотцев на «охотнике» через туман казались белыми, оттуда, с «охотника», захлопал «ратьер».

Чижов осторожно подвел «Зверя» к кривому из‑за потерянного крыла самолету, подстопорил машины, и «Зверь» тихо ткнулся в поплавок. С шуточками‑прибауточками полезли на крыло аварийщики, последними через обвес перебрались Макаревич и Бондарь. У Бондаря в промасленном мешке звякали инструменты.

– Фенамин погляди, – крикнул Макаревичу с полубака Черемыш, страдая, что не лезет сам, – таблетки такие желтенькие, чтоб не спать… Дивная вещь… И вообще – ограничители открути…

Мало ли что найдешь в самолете, вот на что он намекал.

– Какие ограничители? – не понял Макаревич. – Бобышки такие?

– Бобышки, – простонал Черемыш, красноречиво глядя на Чижова. – У тебя жена в Челябинске?

– При чем тут жена? – рассердился Макаревич. – Вы на что намекаете, товарищ младший лейтенант? – Он стоял на поплавке в ботинках, вода доставала, и он по очереди поднимал ноги.

Черемыш засмеялся и сел под обвес.

– Товарищ командир, – из люка «лаптя» высунулся старшина Бондарь, – тут фриц удавленный, стропу выбросило и удавило, голова во! – Бондарь показал, как вывернута шея у летчика.

– Труп врага хорошо пахнет, – захохотал Черемыш, – северная мудрость, проверь, Макароныч…

Макаревич сплюнул и, не оглядываясь, полез в самолет.

Продолжать радиомолчание не имело смысла, радист выстукивал морзянкой, «гостей» можно было ждать второй раз, и на помощь конвою вызывали эсминец, на корме матросы ловко и споро зачаливали самолет, там внутри громко переговаривались аварийщики, били молотками, снимали оружие. Постепенно распогодилось, туман уходил.

Прошел в высоте «Р‑5», дал красную ракету, на «охотнике» опять захлопал «ратьер», бурун за его кормой вспух, трос натягивался, нос «Кооперации» покатило вправо.

Бондарь волоком тащил по крылу «лаптя» крупнокалиберный пулемет, неожиданно он по‑разбойничьи свистнул, повернулся к «Зверю» спиной, нагнулся и задрал ватник – на могучих его, обтянутых клешами ягодицах висели два железных креста. На палубе заржали.

– Нет фенамина! – крикнул Макаревич из люка. – Удочки и черви консервированные, блевать охота… И духи, я художественный стих написал, – он поднял над головой флакон и перекинул длинные ноги через люк, – кто пронюхает, тот ахнет, Черемыш шикарно пахнет, – захохотал и чуть не упал обратно в люк.

Вестовой принес горячий чай, Чижов подставил лицо ветру, прикрыл глаза, потом резко, через мегафон, приказал отставить посторонние разговоры, занять места согласно штатному расписанию, это относилось к Черемышу, дал самый малый и испытал вдруг странное счастье от командирской ли своей умелости, оттого ли, что все было в его руках, от любви ли ко всем этим людям в самолете, вот которыми он командовал, такой вдруг внезапной и горячей, «телячьей», как он тут же себя выругал, что ему захотелось плакать. Он чуть отжал ручку, прибавляя постепенно ход, и обругал боцмана за грязь на палубе.

В этот день в обед Тасю подвесили или, как здесь говорили, «сделали Чкалова». Тася болталась в люльке под кормой мазутовоза «Бердянск», затопленного на Двине год назад и этой весной поднятого. Прямо под названием возле буквы «Р», а вся бригада отправилась есть на полубак. Там они жарили на противне пикшу, и запах был, надо сказать, дивный.

Кроме Таси и Дуси Слонимской, все в бригаде местные, поморки с Саламбалы, бабы добрые. Бригадирша Агния к начальству жаловаться не бегает, тем более законы сейчас строгие, время военное, но оставить вместо обеда позагорать, повисеть в наказание в люльке – это практикует. Забудет поднять и, хоть плачь, хоть вскачь, – не слышит. Сама Агния – баба жилистая, всегда ярко красит рот, на ветру работает без бушлата и любит петь про любовь. Тася медленно вертится в люльке туда‑сюда. И Двина и солнышко тоже вертятся. Внизу голубая прозрачная вода, слева пристань с буксирами, дальше желтые, чисто вымытые пирсы ВМФ, у пирса английский корвет, там голый матрос в желтых по колено штанишках ловит рыбу на спиннинг. У корвета короткие пушечки, с детским довоенным названием – мушкеты.

– «Нам разум дал стальные руки‑крылья, а вместо сердца пламенный мотор…» – назло всей бригаде поет Тася и грызет горбушку. Она отталкивается ботинком от гулкой, даже на солнце ледяной кормы «Бердянска» и бросает в воду кусочки окалины. Если кусочек побольше, то глупыш обязательно спикирует.

– «Чкалова сделали»? – хохочет пацан, возчик сварочного участка Молибога. Он развозит на телеге длинные железные уголки. Молибогой его прозвали за сходство с популярным артистом Алейниковым, рот у него, как у Алейникова, кошельком. Тася нравится Молибоге, он старается чаще ездить мимо «Бердянска», краснеет, когда ее видит, и грубит.

– Не‑а, – кричит Тася, – это у меня вахта, гляжу зорким орлиным глазом, у кого прыщ на носу выскочил!

– Знаем, – оскорбляется Молибога и грозит Тасе кулачком, – слышали, керосин вывернула, сова безглазая, растяпа, пособник врага, ножищи‑то – во! Мы еще вернемся, Суоми! – Железные уголки процарапывают на досках пирса белые бороздки, вызванивают что‑то, как мотив.

Из‑за красной башни общежития на завороте Двины, из‑за штабелей бревен до небес вываливаются два шаровых сторожевика, один волочет что‑то на буксире, вроде положенный на бок кран. Внизу под Тасей вышагивает в баню взвод салаг в брезентовых робах.

– A‑раз! А‑раз! – выкрикивает старшина и улыбается Тасе из‑под лакового козыречка. Брюки у него не по форме, в них широкие клинья, и они прямо заворачиваются вокруг ноги. Красота!

Нестерпимо вкусно пахнет жареная пикша, с полубака к солнышку поднимается дымок. Сторожевик тянет никакой не кран – Тася вытягивает шею, – а белый самолет с обломанным крылом. Тася схватила плоский молоток, которым отбивают окалину, и забарабанила так, что в трюмах пустого «Бердянска» загудело и завыло, затем надела на голову ведро и замерла.

– Чего? – крикнула сверху Агния с набитым ртом.

Тася не пошевелилась.

– Чего? – Агния встревожилась.

Тася сидела неподвижно, звуки через ведро проникали плохо, наверху на Агнию заругалась Дуся, но слов было не разобрать. Люлька дернулась, Тасю поднимали.

– Если оставили пикши, я вас, комсомольское, обрадую. – Тася цирковым жестом сняла с головы ведро и улыбнулась, она была необидчива.

– А нет – умрете дурами… – И, перескочив через обвес, стала ловко бить чечетку заляпанными шпаклевкой ботинками.

Бум! – выпалили на корвете, салютуя сторожевику. Тамошний боцман притащил аккордеон и, как был голый, с дудкой на волосатой груди, заиграл английский марш.

Здесь, в узости реки, самолет с повисшими, слабо шевелящимися от зыби винтами казался неправдоподобно огромным, забавный на первый взгляд самолетище, не спутаешь, его хорошо знали в этом пожженном бомбежками городе. Правда, никому не приходилось видеть его вот так сверху, всегда наоборот.

– Вот уж действительно стервятник, – сказала Агния, – волчище… – и быстро растерла мизинцем помаду на нижней губе.

На палубе сторожевика было много народу, были и знакомые краснофлотцы. «Зверь» часто швартовался у шестого причала пирса ВМФ, недалеко за высоким забором с колючей проволокой. На мостике Чижов разговаривал с длинным лейтенантом в приталенном кителе, на кителе – Красная Звезда. Чижов показался Тасе сильно похудевшим, волосы у него торчали хохолком, краснофлотец принес ему чай и уважительно наливал в стакан с подстаканником.

– Товарищ Чижов, – закричала Тася что есть мочи, – поздравляем с боевым подвигом, горячо, горячо поздравляем!

– Эй, морячилы, – кричала рядом Агния, сложив ладошки рупором, ногти у нее были тоже ярко‑красные, как губы, – как там ваше ничего?! – И смеялась, красиво взявшись за обвес. – Товарищ Бондарь, приходите к нам морошку кушать. Наша морошка, ваш сахарок… – и опять смеялась, как стонала, – ах‑ах‑ах…

Чижов не понял, кто кричит ему, завертел головой, потом сразу увидел Тасю, смутился и облился чаем. Длинный лейтенант засмеялся, протянул ему клетчатый большой платок.

Бум! – опять выпалили англичане. Во дают, ни построения, ни захождения, ни команды. Обрадовались сбитому «лаптю» и лепят из своего мушкета. Артиллеристы тоже нагишом – в желтых детских штанишках.

– Сами бы сбивали, – кричит им Дуся и показывает большим пальцем в небо, – сами, сами!..

– Товарищ Бондарь! Держитесь неподвижно, я вас сфотографирую, – ликовала Агния. – Нет, я, я вас сфотографирую…

Чижов из‑за длинного лейтенанта опять поглядел на «Бердянск» и отыскал глазами Тасю.

А у Таси ослабли ноги, «ножищи», как называла их Агния, и вдруг она сообразила, что в очках, быстро сняла их и замахала рукой, а потом ушла в каптерку, села на рундучок и закурила, бессмысленно уставившись в полутьму, туда, где стояли кисти и висело барахло.

– Боженька, – сказала она, – если ты есть, иже еси на небеси, – больше слов она не знала, – сделай так, чтобы старший лейтенант в меня влюбился.

За иллюминатором что‑то стукнуло, и в него всунулось лицо Агнии.

– Рыбу иди кушать! – закричала Агния, она всегда кричала, никогда не разговаривала. – Видела, как Бондарь на меня глядел? Морошку, говорит, приду кушать… шпана какая! – счастливо заулыбалась и исчезла.

Багет у зеркала был богатый, крашенный золотом, в нем переплетались знамена, орудия и якоря. Само огромное зеркало отражало часть стены с большой карикатурой на Гитлера. Гитлер сидел на развалившемся пополам эсминце типа «Либерехт Маас», и подпись гласила: «От нашей мины у Гитлера плохая мина». И еще зеркало отражало их четверку – весь офицерский состав «Зверя»: Чижова, Макаревича, Черемыша и Андрейчука. На концерт они опоздали, и лестница и фойе были пустые.

– Пришло в голову, – одобрительно сказал Макаревич про карикатуру, – мина и мина, а суть разная… Синонимы применили.

Все четверо были орденоносцы: Черемыш, выставивший вперед ногу в довоенном лакированном полуботинке; Андрейчук с длиннющим мундштуком, в который он вставлял папиросы; Макаревич, который именно сейчас выяснил, что не добрил губу, и всполошился, сегодня он выступал в концерте самодеятельности флотилии. И в центре – сам Чижов, командир. Себя Чижов представлял как‑то по‑иному… Зеркало огорчило его, он сунул руки в карманы брюк, покачался на каблуках и предложил Макаревичу не хлопотать и не огорчаться, как баба, а пойти в парикмахерскую добриться. В голубой гостиной, у стены, среди прочих бюстов стоял бюст Чижова. Гипсовый Чижов хмурил брови и выискивал над затемненным окном вражеский торпедоносец.

– Э‑те‑те, хорош, – сказал Черемыш.

– Очень удачно схвачено, – сказал Макаревич, – поздравляю, командир, – и пожал Чижову руку.

Парикмахерская была закрыта, уборщица пересчитывала салфетки.

– Здесь наш бюст стоит, – сказал ей Черемыш и подергал дверь, – а оригинал не соответствует, дай бритву, мамочка.

– Принципиально не дам, товарищи офицеры, потому что не возвращаете, – сказала «мамочка», выключила титан и ушла.

Подошел старший лейтенант Гладких, командир сторожевика «Память Руслана», в записной книжечке у него была бритва. Над «Памятью Руслана» шефствовали палехские мастера и регулярно присылали на судно яркие записные книжечки с наглядной агитацией на деревянных переплетиках.

– Предлагаю меняться, товарищ старший лейтенант, – сказал Черемыш по дороге в курилку. – Вот на мой ножичек…

– У него же щербина…

– А у вас в книжечке уже понаписано…

В курилке Макаревича взялся добривать Черемыш, хотя Макаревич и настаивал, чтобы добривал его сам Чижов.

– Я тебе, командир, доверяю, – уговаривал Макаревич, – а то этот трепач порежет.

Чижов и Гладких сели на банкетку в чехле отдельно – все‑таки командиры кораблей, уютно закурили и стали слушать веселую трепотню вокруг Макаревича.

– У меня предчувствие, – трепался Черемыш, – что ты сегодня спутаешься, – Черемыш знал, что Макаревич боится этого, и бил наверняка, – сон был такой… Артист должен внутренним взором видеть картину…

– Отстань, – встревожился Макаревич.

– Порежу, – предупредил Черемыш, – «цветы роняют лепестки на песок», – бил он под дых, – цветы на песке‑то не растут, неувязочка…

– Это образ, – не шевеля верхней губой, замямлил Макаревич, – разбитой жизни.

Уютно текла вода в раковине, все курили. Брить Макаревича собралось уже человек восемь, даже одеколон принесли. Самому старшему здесь, не считая Макаревича, – Гладких – было двадцать пять лет.

В курилку вошел длинный лейтенант с английского корвета.

– Эй, лейтенант, – сказал ему Черемыш, – на тебе авансом ножичек. Как там насчет второго фронта? – и посмотрел на Гладких.

Тот принял вызов, вырвал два листочка и подарил лейтенанту книжечку. Макаревич одернул перед зеркалом тужурку и пошел за кулисы, а остальные направились в подвал смотреть, как Меркулов лепит катерника Селиванова, потопившего в прошлом месяце в Торосовой губе лодку. Но в мастерскую их не пустили.

– С нами вот союзник, иностранный товарищ, – канючил Черемыш.

Селиванов сидел в зимнем реглане с биноклем и ныл, что ему жарко.

Меркулов раскричался, что творческая работа требует уважения и он будет жаловаться самому командующему. Выпроваживая их, старшина сказал Чижову:

– Товарищ скульптор весь свой паек на кофе и мармелад для вас, товарищи офицеры, отоваривает, он для истории работает, он творческий талант, а вы все – «береговой службы» да «береговой службы»… Ну эх… – и закрыл за ними дверь на засов.

Они пошли было назад, но дверь с черной лестницы в фойе перекрыли, и они оказались на улице. Билеты остались у Макаревича. Лейтенанта флота обратно пустили, а их нет.

Верзила лейтенант, который так ничего и не понял, уходил вверх по лестнице, по красной ковровой дорожке, обернулся, улыбнулся, помахал им рукой.

– Каланча. Никакого понятия о дружбе, – сказал ему вслед Черемыш, – капиталистические джунгли, где человек человеку волк.

У чугунного фонаря стояли две девушки в одинаковых платьях, с лодочками в сеточках, очень беленькие и очень хорошенькие, и Черемыш бросился за пропусками.

– Здесь наш бюст стоит, – донесся его голос из комнатки администратора, – а лейтенант береговой службы не верит…

– Товарищ Чижов? – уважительно закивал администратор и стал выписывать пропуска.

– Вы скульптор? – спросила у Чижова девушка, когда они поднимались в зал.

– Он скульптор, – ликовал Черемыш. – И вот товарищ Гладких тоже скульптор, редкий специалист по разминанию глины. А я – командир корабля, а ордена они у меня одолжили, а то им неудобно.

– Перебираешь, Жорж, – сказал Чижов сухо, – замри на деле, знаешь?!

– Дробь, – поскучнел Черемыш, – вас понял, командир.

Гладких отправился играть в шашки, а они пошли в зал.

Для Макаревича сделали специальное освещение, он вышел быстро и запел сразу очень громко и очень сердито. Ария была трудная, надо было не только петь, но и всей фигурой изобразить отчаяние, и это как раз у Макаревича получилось хорошо и трогательно. Им даже показалось, что когда он пел про лепестки на песке, то торжествующе на них посмотрел.

– Ты его больше, Жорж, не дразни, – успел прошептать Чижов, – не дразни, прошу я тебя, и пусть перед командой выступит…

В следующую секунду случилось несчастье, Черемыш ли накаркал, еще ли что, только в следующую секунду вместо «в маске» Макаревич спел «в каске». Так и спел «Всегда быть в каске – судьба моя» и застыл, с изумлением глядя на свои растопыренные пальцы, вроде не зная, что срывать: маску или каску.

Зал замер. Черемыш ахнул. Старенький дирижер отчаянно взмахнул руками, оркестр с места взял две последние строки, и Макаревич громко повторил концовку.

Ему особенно громко хлопали и из сочувствия даже кричали «бис!».

– Пропал мальчик, – убитым голосом сказал о себе Черемыш, будто читая чижовские мысли, – ну что я за трепло такое… а, командир?!

– Офицеров лидера «Баку» на выход! – внезапно объявила трансляция и защелкала, перечисляя корабли и соединения.

За сценой стучали молотки, там ставили декорации к драматическому отрывку, который должен был быть исполнен силами подплава, но офицеров подплава уже перечисляли, и ведущая концерта, краснофлотка, так и стояла перед плюшевым занавесом с бумажкой в руке и тоже слушала трансляцию, наклонив голову к плечу.

– Офицеров патрульного судна «Зверь» на выход, – объявила трансляция.

– А вот и мы, – сказал девушке Андрейчук, – пишите, не забывайте.

– Офицеров патрульного судна «Память Руслана»…

Дежурный со «рцами» перегородил рукой дорогу «доджу» с ребятами из минно‑торпедного и поманил на себя пикап Чижова. Это было удивительно.

Город был затемненный, сонный. Дела, видно, предстояли большие.

На флотилии, тем более на кораблях, старшие офицеры – не такое уж частое явление, коридор в морском штабе – длинный, в него выходят гофрированные печи и множество дверей, крашенных серой корабельной краской, если такая дверь открывается, то чтобы выпустить старшего офицера, а закрывается – значит, впустила.

И странно только, что большинство здоровается за руку и заводит разговор. Вот открылась дверь, вышел майор береговой службы из наградного отдела.

– Вы Чижов?

– Так точно.

– Со «Зверя»?

– Так точно. Командир патрульного судна «Зверь» старший лейтенант Чижов.

– Очень рад, – говорит майор береговой службы.

Когда майор из наградного отдела вам очень рад, это, как говорит Черемыш, «на дороге не валяется».

– Вы, – говорит майор, – к завтра готовьте наградные листы на всю команду без исключения за сбитый «Хейнкель‑Арадо». Скупиться не надо – результат налицо. Тем более сейчас не сорок первый, сорок четвертый на дворе, сейчас награждать одно удовольствие. – И опять со всеми за ручку, и опять: – Очень рад.

Мощеная улица перед Домом флота, только что пустая, заполнялась народом. Подъезжали «виллисы», грузовики, и газолиновый дым сливался с синим цветом лампочек на массивных с завитушками столбах. Посыльные краснофлотцы выкрикивали своих, а дежурные со «рцами» налаживали очередность отправки.

– Графини Бобринской карету… – сказал чей‑то высокий насмешливый голос, и затарахтел мотоциклетный мотор.

С Двины тянуло сыростью, расстроенный Черемыш ждал Макаревича и на всякий случай кашлял, он всегда кашлял, когда перебирал с шуточками, легкие у него и вправду были так себе, но сейчас он кашлял с целью психологического давления на доброго Макаревича и говорил в таких случаях слабым голосом. Застенчиво улыбаясь, прошел к автобусу катерник Селиванов, а его старпом тащил тяжелый меховой реглан и каракулевую шапку. Их провожал Меркулов.

– Это потому, что японский Хирохито, – трепал Меркулову старпом‑катерник, – требует какие‑то бюсты, а наш командующий, понимаете, ни в какую… что другое – берите, но бюст капитан‑лейтенанта Селиванова ни за что. И – бац! – война.

– Эти шутки дурно пахнут, – гневался Меркулов.

Черемыш в кузове хихикнул, загремел ведром и тут же закашлялся: шел Макаревич.

– Вова, – услышал Чижов слабый голос Черемыша, – ну есть же такое понятие: язык мой – враг мой…

– Вне службы, товарищ младший лейтенант, вам направо, мне налево, – железным голосом ответил Макаревич.

– Это жестоко, – заныл Черемыш.

Зам по тылу задал вопрос, сколько ворвани и пробки может принять «Зверь» в кормовые трюма, и записал примерные цифры в маленькую книжечку с карандашиком на цепочке, а потом говорит:

– Вы же ужин пропустили, товарищи командиры, – и что‑то полному младшему лейтенанту с приятным лицом. Приятный младший лейтенант тут же приятно улыбнулся и проводил в салон‑столовую, где пошептался с подавальщицей в белой наколке и с маникюром.

Так что Чижов явственно услышал: «И еще две – мою порцию отдайте и подполковника». Тут же исчез, ввел Гладких, его старпома Расзайцева и усадил за соседний столик.

– Сон золотой, – сказал Гладких, когда подавальщица принесла наркомовские сто грамм, но не просто, а в зеленого стекла штофе, и открытую пачку «Северной Пальмиры». А матрос с кухни – натуральную жареную картошку с колбасой и винегрет с маслинами. Маслины с обоих столиков отдали Черемышу, остальных от одного их вида мутило.

В столовой стулья в белых чехлах, на столиках длинные вазочки с цветочками.

Радио передавало песни из кинофильма «Моя любовь». Все они достаточно прослужили, чтобы понимать, что скорее всего предстоит что‑то очень тяжелое. Но думать об этом не хотелось.

«Только лишь в подушку, девичью подружку, выплачу свою слезу».

Они не знали, самим следует наливать «наркомовские» из штофа или подождать, пока это сделает подавальщица. Решать это следовало командирам, и Чижов с Гладких стали перешептываться через проход. Но не успели договориться. На слове «любовь» открылась дверь, и высокий каперанг сказал:

– Товарищи офицеры с «Памяти Руслана», товарищи офицеры со «Зверя», к командующему.

Они вскочили, но каперанг развел руками.

– Что ж вы не докушали, товарищи, докушивайте… – и ушел.

Дверь в коридор осталась приоткрытой, и они еще раз увидели каперанга, он провожал двоих из английской миссии, что‑то объяснял им по‑английски.

Чижов и Гладких разлили всем из штофа и захрустели фигурно нарезанными в винегрете солеными огурцами. Были здесь еще двое – известные на флотилии катерники, и было приятно хрустеть винегретом, и удивление катерников было приятно. Черемыш вылил в стопку Чижова оставшиеся капли из штофа и, ковырнув ногтем мизинца в зубе, сказал для катерников:

– Надоела свежая картошка, ей‑богу, – и пустил струю ароматного дыма из длинной «Пальмиры» в латунную с якорями люстрочку.

– Очень приятно, – ласково сказал каперанг, когда они проходили тамбур между двумя обитыми дерматином дверями.

На столе у командующего стояли нетронутые стаканы с кофе и лежали сигары.

– Товарищи офицеры, – сказал командующий, взял со стола и повертел в руках сигару, – хорошо воюете, хорошо бьете фашистов, товарищи офицеры.

Садиться он не предложил, и они стали в дверях «смирно».

– Значит, так, – сказал командующий, – сегодня немцы употребили здесь, на севере, новое секретное оружие, самонаводящую торпеду, возможно, торпеда акустическая и бьет по винтам, возможно, у страха глаза велики, все возможно… Говорят, штаны через голову невозможно надеть. У судов типа «Зверь» и «Память Руслана» задлиненная корма, так я помню, затем сразу погреба, так, загрузите трюма и погреба рванью или капковой крошкой, заварите броняшку так, что в случае действительного попадания останетесь на плаву… Короче, подведете в Дровяное дриферботы, они тоже будут подготовлены… А с Дровяного пойдете с земснарядом и будете ходить, пока не подтвердится… В общем, стих поэта Константина Симонова «Сын артиллериста» слыхали? Говорят, действительно был такой случай, так что будете вроде вызывать огонь на себя, то бишь торпеду.

Двери опять беззвучно открылись, пришли начштаба и замполит бригады Дидур. Радио все передавало песни из кинофильмов. Прошло минут пять, никак не больше.

– На головном с вами, – командующий кивнул Гладких, – пойдет замполит бригады, ну и радисты на дриферботах и землечерпалке. Летающие лодки мы забазируем на Дровяное, – командующий опять повертел сигару, – наградные листы на команду заготовьте, – это уже Чижову, – притом на всю без исключения. Прошу понять, товарищи офицеры, без такой вашей работы конвой мы проводить не можем, что ж, наше море – мы в ответе. Есть у кого что?

– Хочу заметить товарищам офицерам, – сказал Дидур, – мы не империалистическая Япония, у нас понятия смертников нет, и вернуться с победой шансов у нас с вами более чем достаточно.

Командующий кивнул.

– Пойдите там покушайте, назавтра команды на кинофильм сводите, – сказал он. – «Волга‑Волга» отличный, я считаю, кинофильм, и жду, как говорится, с победой в родной порт.

И, позвонив в звонок, распорядился вошедшему каперангу подготовить в Доме флота кинофильм «Волга‑Волга» на восемь тридцать утра.

– Подробности задания личному составу объясните в море, – добавил он, проводил их до дверей и на прощание каждому пожал руку.

Летняя северная ночь была светлой. Они еще посидели в открытом «додже» и покурили. Толстый нахальный краснофлотец, шофер штабного «доджа», со значением зевал, давая понять, что пора бы закругляться.

Чижовский дом спал, скамья под Тасиным окном была мокрой от росы, накануне рядом со скамейкой жгли костер, он даже дымился.

«Признайся мне в своей святой измене», – насвистывал Черемыш.

Краснофлотец опять со стоном зевнул и почесал живот под форменкой, опустил вниз ноги в расклешенных не по форме брюках. Чижова вдруг захлестнуло раздражение, такое, что стало трудно дышать.

– Вы, товарищ краснофлотец, передайте своему командиру, что вам сделано замечание по форме одежды. Уставную форму, я полагаю, необязательно нарушать, – он соскочил на траву и пошел к калитке. В ноги беззвучно бросился комок шерсти и репейников – пес Пиратка.

Черемыш все свистел, когда Чижов обернулся от калитки, Макаревич сидел на корточках и аккуратно распарывал шоферу неуставные клинья на брюках.

Хлоп‑хлоп! – доносилось с реки, там полоскали белье. В распоряжении Чижова было два часа тридцать минут.

Крутая лестница в тишине скрипела, кусок перил был заменен и укреплен откосиком.

– Интересно, – сказал сам себе Чижов и погладил перилу, что интересно, он и сам не знал. Ходить мишенью до Дровяного и обратно было уж точно неинтересно.

Он поднялся в коридорчик и сразу же услышал, как заскрипел сундук, потом рука испуганно отодвинула занавеску на полукруглом окне, и стало почти светло. Тася сидела на своем сундуке, закрывшись стеганым одеялом, он вспомнил: с этим одеялом он школьником ездил на лесосплав, и внизу тетка Глафира вышила метку «Чижов Анастасий 21‑я ШАД», что означало: школа антифашиста Димитрова. Под ним они спали вдвоем с Валеркой и называли его буркой.

– Богатое одеяло, гагачье, – сказал Чижов и развеселился. – Это мое… – он завернул край одеяла с красной вышитой надписью.

– Что вы? Что вы? – Тася рванулась на своем сундуке. – Мне хозяин дал! – Мелькнула голая полная рука, плечо с лямочкой, кровь бухнула в затылок Чижову, и захотелось пить. Ему всегда было мучительно с девушками, сейчас же он испытывал незнакомое чувство свободы и уверенности.

– Оно было моим в детстве, насколько я себя помню, – он засмеялся и сел на ступеньку, – мы его с Валеркой буркой звали. – Зажигалка зажглась с первого раза, дым пошел кольцами, так у него никогда раньше не получалось.

– Вы курите? – спросил он. Тася поспешно затрясла головой, хотя и курила.

«Могла ведь вечером накрутиться, – подумала она, – вот корова».

– Здесь метка есть, – сказал Чижов и завернул край одеяла, – 21‑я ШАД – школа антифашиста Димитрова. – Ему хотелось еще раз увидеть руку или плечо с голубенькой лямкой.

– Лучше расскажите про свой подвиг, – ужаснувшись собственной глупости, хрипло сказала Тася и потянула одеяло на себя.

– Меткая трасса с героического судна под командованием старшего лейтенанта Чижова прошила корпус стервятника, и седое Белое море поглотило его. – Чижов никогда так гладко и красиво не говорил. «Ну жму, – подумал он про себя, – не хуже Жоржа». – А еще один написал, я сам, ну ей‑богу, читал: «При виде нашего большого „охотника“ немецкая субмарина трусливо скрылась под водой», – он засмеялся, покрутил головой и опять пустил кольца.

– При виде вашего «охотника»? – Тася тоже засмеялась.

– Да нет, вообще… Это я в смысле, что глупость написана, от незнания… На «охотнике», значит, лопухи, зевнули лодку… А у нее уж такое дело – трусливо, не трусливо, а скрываться…

– Да‑а, – сказала Тася.

Дом спал, за стенкой храпели.

– Пойдемте, – вдруг сказал Чижов, сам чувствуя, что голос у него сипнет.

– Куда?

– Ну пойдемте… – он не мог придумать, куда можно сейчас позвать девушку, – погуляем.

– Пойдемте, – закивала Тася, глаза у нее стали такие, будто он звал ее прыгать с парашютом, – только я оденусь.

Почти беззвучно, на одних носках, он слетел первый пролет, съехал второй по тонким перилам, и, как в детстве, перила катапультировали его с высокого крыльца в мягкую пыль, и, как в детстве, он устоял на ногах.

Хлоп, хлоп! – опять донеслось с реки.

Бу‑бум, бу‑бум! – билось сердце. Чижов расстегнул крючки кителя и сел на скамеечку. На светло‑желтое небо наползли тучи, и дом, составленный из бревенчатых кубов с круглыми окнами, встающий над густыми кустами, был похож на загруженный лихтер. Тася все не выходила. По краю железной крыши шел котище с обрубленным, как часто бывает на севере, хвостом. Котище тащил зеленую сетку‑авоську с промасленным газетным пакетиком – паек с чьей‑то форточки. Чижов запустил в него комком земли.

На крыльце появилась Тася с сумочкой и лодочками в руках – чтобы не шуметь. Платье на ней было светлое, нарядное, с высокими плечиками, сережки голубенькие, на руке часики, а волосы тоже светлые, почти белые. И в черном проеме двери она напоминала картину в раме, и все в этой картине – от самой Таси до серебристого корыта на стене, по которому проходили тени от облаков, до желтой струганой доски и бузины на углу – было удивительно красиво. Опять беззвучными тенями пронеслись две утки. Что уж случилось, Чижов сказать не мог, но легкость, на которую он рассчитывал, ушла.

– Ну пойдемте, – сказала Тася и надела лодочки, даже ложка у нее была с собой, ложку она положила в сумочку.

Он взял ее под руку, и у скамейки они постояли, не зная, кому первому садиться, он не хотел отпускать Тасину руку. Накануне Тася придавила палец на левой руке, ноготь был черный, и Тася прятала его в рукаве. У ног Чижова терся Пират, оставляя на брючине клочья бурой шерсти. Наконец они сели, он все держал ее под руку и кистью чувствовал упругую горячую грудь. Из баньки, сильно кашляя, прошел эвакуированный старичок со свечкой.

– Какие на севере цветы восхитительные, – сказала Тася, – похожие на южные, но без аромата, я в художественной школе училась, и мы все обязательно рисовали сирень, а у меня по сирени была пятерка… Вы любите цветы?

– Люблю, – кивнул Чижов.

– Какие? – спросила Тася.

– Львиный зев, – сказал Чижов. Мыслей особенных не было, в голове был звон. Из‑под воротника он видел Тасину шею и чуть продвинул руку вверх и вперед.

– Зачем вы, – сказала Тася, уставившись на запыленные лодочки, – ведь вы меня не любите…

– Люблю, – сказал Чижов и еще продвинул руку.

– Да? – сказала Тася и часто задышала. – Дайте комсомольское…

– Я член партии, – сказал Чижов, и они еще посидели неподвижно.

Тасю сильно колотило, она повернулась к нему, глаза потемнели и показались Чижову огромными.

– Если вы меня любите, и я вас люблю, – ее все колотило.

«Сумасшедшая», – похолодел Чижов, но эта мысль была последняя, через секунду они целовались, вернее, Тася целовала его.

– Милый мой, единственный, – шептала она, целуя лицо, шею и даже уши.

Ничего подобного Чижов предположить не мог и опять растерялся.

– Я как только тебя увидела, поняла, что ты моя судьба, я даже молилась вчера, ты хочешь меня обнять?..

«Кошмар», – опять пронеслось в голове у Чижова, фуражка слетела в пыль, и Пират нюхал ее.

– Пойдем погуляем, – сказал Чижов, оглядываясь и соображая.

– Пойдем, – Тася сразу встала, готовая ко всему.

Чижов обнял ее за ноги выше колен, потянул к себе, она левой рукой уперлась ему в плечо, а правой гладила его короткие волосы.

«Пора будить отца прощаться», – подумал Чижов.

Дверь баньки опять стукнула, они встали и пошли. Пиратка бежал за ними, обгоняя и подкладывал на тропинке палку, чтобы Чижов бросил. И обижался и лаял, что тот не бросает.

– Пшел, – сказал Чижов, Пиратка мог перебудить всех. Привыкшие рано вставать люди и в воскресное утро спят чутко.

– Пшел, Пиратка, – сказала Тася и посмотрела сверху вниз на Чижова, сняла лодочки и пошла босиком.

Когда они дошли до поросшего крупными северными ромашками погреба, Чижов поднял ком земли и швырнул в Пиратку. Они постояли, странно было сразу карабкаться, Тася дышала тяжело, будто после бега, и старалась сдерживать это дыхание. Чижов, не оборачиваясь, пошел наверх и только наверху, у старой деревянной трубы погреба, обернулся. Трава была высоченная, почти до колен, облака – длинные, светлые, как ножи. Тася тоже полезла вверх, ей хотелось подниматься ловко, казаться гибкой, и это у нее получалось. Чижов снял китель, они сели на этот китель, и высокая трава, и огромный куст бузины сразу же отгородили их от домов, Кузнечихи и всего остального мира.

Хлоп, хлоп! – доносилось с реки.

– Англичане считают, – сказал Чижов и взял Тасю за руку, – англичане считают… – он провел пальцем по Тасиной шее, Тася схватила его за палец, и так они посидели, слушая, как бухает кровь у каждого в голове.

– Что считают? – спросила Тася.

– Что когда женщины полощут белье, нельзя выходить в море… Даже к командующему, говорят, ходили. Мракобесие такое развели, – Чижов засмеялся, высвободив палец, и обнял Тасю.

– А командующий? – спросила Тася, на Чижове была белая нательная рубаха, расстегнутая на груди.

Чижов пытался расстегнуть платье там, где пуговицы были накладные, фальшивые, сбоку были крючки, но как подскажешь, никак не подскажешь. И чтобы не подсказывать, Тася медленно, сама дурея, стала целовать Чижову ключицу.

– Что ж командующий? – бормотал Чижов. – Ничего командующий, – он вдруг натолкнулся на крючки, – у нас, говорят, здесь триста лет стирают… – И это было последнее, что он сказал, крючки поддались дружно, разом, и, задохнувшись, они оба опустились в высокую густую траву. Шея, лицо и грудь Таси были белые, Чижов увидел, как она закусила губу, и почувствовал вдруг такую нежность, что в груди заныло и заломило плечи.

– Не бойся, – сказала Тася, – я тебя люблю. Ну что же ты?

– Не знаю, – Чижов сел и растерянно поглядел на часы. – Ты отцу моему не говори, что я заезжал…

– Ну да, – сказала Тася и засмеялась, чувствуя полную власть над ним. Она и не предполагала, что так можно чувствовать. – Приезжали, скажу, но предпочли… смотри, какая я сильная, – она надавила босой ногой на деревянную трубу погреба, но труба не поддалась.

Чижов размахнулся и ударил по трубе каблуком, доска треснула, посыпалась труха.

– Ты сильнее, – сказала Тася, – но так и должно быть…

Голова у Чижова опять кружилась и тяжелела.

– Конечно сильнее, конечно должно быть, – пробормотал он.

Неожиданно Тася взвизгнула и дернула ногой, так что он отлетел.

– Ты что? – не понял он и тут же почувствовал гудение и резкую боль в ладони. Из деревянной трубы, как бомбардировщики, эскадра за эскадрой вываливались осы.

– Ой‑ой! – кричала Тася. – Туфля, где моя туфля?!

Чижов схватил китель и, отбиваясь им от ос, искал туфлю. Но стоило ему взмахнуть кителем, как из кармана веером вылетели и рассыпались в густой траве документы.

Теперь Тася стояла над ним и бешено вращала китель, покуда он на четвереньках выгребал из лопухов и ромашек удостоверение, аттестат и деньги, потом они скатились с погреба и побежали.

Только на углу Почтовой у Валеркиного дома они остановились и послушали: осы улетели, с холма открывалась река, небо над ней розовело.

– Теперь буду верить в приметы, – сказала Тася и попробовала вытащить жало, ладонь у Чижова уже опухла, пальцы были длинные, тонкие, сильные, на каждом по буковке: «Ч‑И‑Ж‑О‑В» и якорек у большого пальца. – Что там говорят англичане?..

– При чем тут приметы? – предполагая в Тасиных словах намек, Чижов напрягся.

– Ты самый лучший, – быстро сказала Тася, – я про ос… – и зубами вытащила жало.

– Теперь я, – сказал Чижов, и в эту секунду они оба одновременно услышали машину, идущую от города, где‑то уже на Коминтерна. – Ты отцу скажи, что разбудить жалел, – он помолчал, – лучше вовсе не говори…

– Я фотокарточку принесу, – быстро сказала Тася, – чтоб при тебе была, тебя в школе Чижик звали?

– Нет.

– Пыжик?

– Нет, – засмеялся Чижов, – Тося, от Анастасия.

– Тося и Тася, – сказала Тася, – я тебе так и подпишу: Toce от Таси…

Они быстро шли задними дворами к дому.

За калиткой уже стоял «додж» и приплясывал невесть откуда взявшийся Киргиз в трусах, майке и сапогах, наголо побритая голова была большой.

– Пишите письма, – сказал Киргиз и провел ладошкой по бритой голове, – отправляемся, между прочим, в морскую пехоту, – и попрощался с Чижовым за руку.

Макаревич перебрался назад, уступая место Чижову, тот сел, в «додже» похрипывал приемник. Таси не было, и Чижов вдруг почувствовал, что это хорошо, что ее нет, и сухо приказал водителю трогать.

– Я Жоржу говорю: жена прислала письмо, – сказал Макаревич, – от ихнего климата у нее волосы лысеют и что она страдает… Я пошел к начмеду, но у него таких таблеток нет, – он пожал плечами, – а лысая женщина, я даже не представляю…

– Ну редкие, ну густые, – сказал Черемыш не скоро, когда въехали на Виноградова, – смехота переживать… Папаша здоров?

– Спит папаша, – ответил Чижов и подул на руку.

– Ну и ладно, – Черемыш сперва не понял ответа, поверил так, потом вдруг удивился, покрутил головой и засмеялся.

– Ты чего?

– Если потонем, папаша тебе этого факта не простит, пришел, скажет, и не разбудил, как гад…

Для секретности «Зверь» был ошвартован у пирса подплава, и в начале пирса стоял дополнительный часовой. Пахло печным дымом от газогенераторов, ворванью, бочки с ворванью уже завезли, и вокруг них гудели мухи.

«Витязь», портовый буксир с медной трубой, отрабатывал задним ходом и сильно, как на картинке, дымил, он приволок спасательный вельбот с «амика», в цинковые банки на таких вельботах запрессовывались не только НЗ и медикаменты, но и глупости вроде валериановых капель, всех это почему‑то сердило, и вельботы звали «ресторанами». На пирсе, раздраженно попыхивая длинной папиросой, широко расставив ноги, стоял Пеночка, лейтенант Пунченок – помпотех бригады.

– Ну где я вам возьму лист, – сразу напустился он на Черемыша, – заварите броняшку, а лист зачем?!

– Сми‑ирна! – крикнул Андрейчук.

«Смирно» следовало командовать в тот момент, когда ботинок командира ступал на палубу. Андрейчук запоздал, Чижов недовольно покачал головой и отдал честь кормовому флагу.

«Витязь» подработал винтом, чтобы не царапнуть иностранный вельбот.

– У них в НЗ, – почему‑то шепотом сказал Чижову начхоз, – есть валериановые капли и трубочный табак, – и хихикнул, – комедия при нашей работе, а? Ресторан, а?

– Что ты цирк устраиваешь, – заорал Пунченок Черемышу, – ну где я тебе возьму лист, ну хочешь, мной заваривай, ну эх! Что мне, листа жалко?.. Я тоже боевой офицер…

Чижов спустился вниз, в каюту, и сел на диван. Гудела вентиляция, пахло нагретым маслом, сырой ветер задувал в открытый иллюминатор, шевелил бахрому плюшевой портьеры, и четкий солнечный круг отпечатывался на клепаной двери. Чижов откинул голову и сразу же представил белую Тасину шею, которую он целует, затем сунул голову под кран, вода была ледяная, заломило затылок, но он терпел, вытерся жестким полотенцем и взял лоцию Белого моря, подаренную друзьями к дню рождения. Титульный лист был разлинован красным карандашом. Синей тушью друзья написали здесь жизненные рекомендации: «Будь краток, точен, тверд. Андрей», «Береги обнову снову, а честь смолоду. Никита», «Жизнь дается один раз… Вадим». Последнюю написал Валерик и размазал: «Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года».

Надо было работать, а он все видел, как Тася снимает туфли с крепких белых ног.

– Начхоз, а, начхоз, – слышал он стонущий голос Макаревича, – вы рыбу приказали загрузить, а, начхоз?..

– Вестовой, чаю, – крикнул он в коридор, – покрепче!

«Валенки, валенки, не подшиты, стареньки», – пела трансляция.

Чижов сел на лоцию и уже не отвлекался.

В восемь подали автобусы прямо на пирс – команды поехали в Дом флота. Утро было жаркое, на Двине купались. В доме флота было пусто и гулко, в затемненном фойе Чижов поглядел на свой белеющий бюст. Команды сели тесно, и в большом зале Чижову его команда показалась совсем малочисленной.

Замполит бригады Дидур – местный, как и Чижов, помор – небольшой, голубоглазый, в прошлом из политотдела Рыбфлота, пришел с женой, тоже маленькой, крепенькой, в зеленой кофте с оленями. И смеяться она стала сразу же, еще до того, как началось смешно. Из всех не смеялся один начхоз.

– Товарищ замполит, – обратился он к Дидуру, серьезно глядя на экран и сделав брови домиком, – я прошу, чтобы песню про валенки по трансляции никогда не исполняли, ее исполняют в том смысле, что я задерживаю обмен обуви… А я обмен обуви никогда не задерживаю.

В половине десятого того же погожего воскресного дня Тася шла тем же путем, которым несколько часов назад проехал на «додже» Чижов, в сумочке лежал вызов на телефонный переговор с теткой из Рыбинска. Тетка была единственная оставшаяся Тасина родня, не пробросаешься, хоть и жаль воскресного утра, а иди. Никогда она не чувствовала себя такой ладной и красивой, как сейчас, и поглядела в спину старичка с судками, чтоб тот обернулся, так она проверила силу своего взгляда, старичок обернуться не обернулся, но совсем неожиданно споткнулся, в судках плеснуло, старичок испугался. Тася же смутилась и перешла на другую сторону. Был выходной, окна двухэтажных домов были открыты, и в одном играл патефон. Там сидел матросик с козьей ножкой и глядел на улицу, а в комнате танцевали.

С крыльца Валерик с тревогой следил, как Молибога гонял по тротуару на его коляске, коляска день ото дня становилась шикарнее, ручки на передачу теперь были наборные, полосатенькие.

– Ну, – одобрительно сказал Молибога, подъехав. Только что помытые доски крыльца еще парили и пахли чистотой.

– Два, понимаешь, ХВЗ, – сказал Валерик Тасе, – а направляющее чкаловское, – такая уж у него манера говорить, будто всю неделю они только и обсуждали его коляску. – Ох‑хо‑хо, – заохал он, разглядывая Тасю, – золотые, без пяти серебряные, – это про часы.

– Я на переговорный, – строго сказала Тася, – тетка двоюродная вызывает к десяти ноль‑ноль, вся моя родня – не пробросаешься, – и показала зелененький вызов с печатью.

– Лопай, – сказал Молибога и протянул Тасе пакетик халвы.

Валерка же поехал ее проводить, он любил провожать и беседовать дорогой.

Пропылил грузовик с реэвакуированными, худенькие дети с узлов махали руками.

– В Ленинграде кошка стоит четыре тыщи, – объявил Валерка.

С Валеркой можно было говорить о Чижове, и от предчувствия разговора у Таси сладко сдавило грудь.

– Ты в школе с кем сидел? – приступила Тася.

– Со Слоном… – Валерка вспотел, кроме того, он прислушивался к одному ему слышному скрипу в коляске. – Не сидел я с Тоськой, – вдруг заявил он, – и не подбирайся…

Тася угостила его Молибогиной халвой.

– Я не люблю, – наврала она про халву.

Валерка не спорил и халву съел.

– Вообще‑то ты ему не пара, – важно сказал он, но Тася только засмеялась в ответ. Он порылся в кармане, дал Тасе сухарик и опять послушал коляску. – Трет, – озабоченно сказал он.

На деревянном тротуаре поспевать за коляской было трудно, Тася попросила его ехать потише и тут же увидела мгновенное счастье у него на лице и уже нарочно для него заругалась:

– Разогнался тоже, я ж на каблуках… У него девушка была?

– У кого?

Тася сбилась, не зная, как назвать, не по званию же, ей‑богу…

– У Анастасия Ивановича.

– А как же, Фаинка. Она замуж вышла, за летуна…

– А он переживал?..

– Летун?

– Ладно, – рассердилась Тася и замолчала.

– Дико, – ликовал Валерка, но дразнить Тасю, идущую сзади, и одновременно ехать было сложно, он обернулся и застрял колесом в щели забора.

– Понастроили, кулачье… – ругался он, пытаясь выбраться.

Почтамт был рукой подать. Тася опаздывала, но ждала, когда Валерик сдастся, грызла сухарь.

– Ладно, – сказал Валерка, – ты лучше…

Тася вытащила коляску.

– Но любил он ее страстно, – чесанул от нее Валерка, он хохотал так, что чуть не свалился с тротуара.

– Фаина, помнишь дни золотые, – пел Валерка с той стороны улицы.

– Не знаете – не говорите, – сказала бледненькая телефонистка с выщипанными бровями и тонкими сердитыми губами, – какой такой Рыбинск, когда это ленинградское направление, ноль‑третье, а не ноль‑седьмое.

У Таси подкосились ноги, сумочка не закрывалась, она зажала ее пальцами. Почтамт был гулкий, холодный, там, где «До востребования», клубился народ, здесь же открыли недавно, пускали по уведомлениям, и народу было всего ничего. Какой‑то худой майор береговой службы с замотанной в одеяло пишмашинкой и с Трудовым Красным Знаменем, нынче редким, начфин из управления порта, да девочка, похожая на телефонистку, делала уроки за скошенным столом.

– Идите же к аппарату, – крикнула телефонистка, – да идите же!..

И Тася пошла к лакированного дерева довоенной будочке. Каблуки стучали по каменному полу, и Тася боялась громких своих шагов.

«На время разговора удостоверение личности остается у администрации» – было написано на будочке. Тася два раза прочла, но не поняла и стала глядеть на телефон, ожидая, что он зазвонит.

– Ну возьмите же трубку! – закричала телефонистка, и все, даже девочка, посмотрели на Тасю.

Она сняла трубку и услышала какой‑то гул, что‑то завывало в трубке: воу‑воу, и вдруг через это «воу» Тася услышала мамин голос.

– Я же слушаю, слушаю! – кричал где‑то мамин голос. – Я же слушаю, ну господи, ну я же слушаю…

– Это кто?! – закричала Тася. – Это кто?!

– Тася, – кричала трубка, – Тася, ответь, Тася!..

– Мама, – кричала Тася, – мама, мамочка!..

– Тася, – кричала трубка, – ты где, Тася?!.

– Я на почте, – в отчаянии кричала Тася, – я на почте!..

– Тася, – закричал вдруг мужской голос, – Тася, девочка моя! Говори, говори, нас могут разъединить!

– Папа! – кричала, ничего не соображая, Тася, топая ногами. – Папа!..

– Ну скажи: экий же ты дурак, – папин голос вдруг прорвался, как через пробку, и стал совсем близко, и так же близко детский голос сказал:

– Таська, хи‑хи…

– Тася, Тася, какое счастье, какое счастье, я не верила, я не верила! – опять закричал мамин голос. – Как же ты живешь, что ты ешь?.. Ты работаешь?

– Работаю, работаю маляром… в порту…

Мамин голос зарыдал.

– Прекрати! – резко сказал папин голос. – Это бессовестно – сейчас рыдать. Девочка моя, мы все гордимся тобой! Да прекрати же, – сказал он маме. – Сейчас‑то, сейчас‑то что…

В трубке щелкнуло, разговор закончился. Потом опять щелкнуло, и папин голос откуда‑то ужасно издалека сказал:

– Не слышу, ушла уже…

– Я здесь, папа!.. – крикнула Тася.

– Ваш вызов: «До востребования» главпочты, Виноградова, семнадцать, – сказал ей сухой незнакомый голос, трубка опять выключилась.

В будку всунулся майор и очень твердо попросил Тасю освободить будку и приглядеть за его машинкой.

– Здесь стекло, – сказала Тася.

– Я сам вижу, что стекло, – строго сказал майор и открыл блокнот.

– «Удар был дерзок и смел, – по складам читал из блокнота майор, – главный калибр бил веселым желтым пламенем, мы ждали праздника на нашей улице и верили в него, и вот он пришел, сказал мне командир главной башни гвардии лейтенант Рыбник».

Тася засмеялась и открыла майору дверь.

– Гвардии лейтенант Рыбник не бывает, – сказала она, – и немецкая субмарина не может трусливо скрыться под водой… И смотрите сами за своей машинкой. А я уезжаю в Ленинград, вы что, не слышали? И буду жить дома, на Зверинской улице. – Неожиданно для самой себя она заплакала и быстро пошла к дверям.

Продолжая плакать, она прошла через почту с галдящей очередью у окошечка «До востребования», мимо высокой старухи, торгующей ящиками и кусочками мешковины для посылок, и старуха почему‑то покивала ей головой.

На вертящейся двери катался мальчишка. Тася замешкалась и увидела на той стороне Валерика, тот болтал с шофером полуторки. Тася незаметно свернула в проходной двор. Здесь она выменяла карточки за две декады на красный шерстяной шарфик, губную помаду и цветную мозаику «Гибель крейсера Хиппер».

– Все, – бормотала она, – все.

Плача и бормоча «все», выпила стакан коммерческой газировки за шесть рублей и вышла на широкую деревянную улицу с выгоревшим углом. Пошел дождь и стал набирать сильнее.

Прощайте, северные елки,

лечу домой на верхней полке.

Прощай и ягода морошка,

лечу домой, гляжу в окошко, –

поют в скверике у вокзала.

Держит Тася в руках телеграфный вызов в Ленинград. Летит трамвай по городу, искры из‑под колес, и представляет она себе – окошко у кассы белого молочного стекла, полы в зале мытые, в них лампы отражаются, и железнодорожники в белой форме – туда‑сюда, и все едят мороженое.

– Ах, товарищ кассир, мне билет в мягкий вагон до Ленинграда, желательно нижнее место!

– Ах, дорогая гражданочка, приношу вам искренние глубокие извинения, нижнего местечка как раз нет, купил один генерал… Плацкартного, очень извиняемся, тоже предоставить не можем, и ни в тамбуре, ни на крыше ничего не предвидится, снимите‑ка ваши очки, гражданочка, посмотрите вокруг, народу тыща, а посадочных талонов сегодня одиннадцать… Отойди от окошка‑то, наела рожу и стоишь… Пожалуйста, пожалуйста, у коменданта запись на месяц вперед. Жаловаться – это пожалуйста, лучше прямо наркому домой позвони, чего там, если ты такая умная.

Ох, забит вокзал на самом деле – ни сесть, ни встать, ни повернуться.

Сумочки нету? Ну уж это извини, подружка… Кто ж на вокзал с сумочкой ходит?! Тем более тебе зашивать есть куда, можешь и без чемодана двигать…

От сумочки остались ручки крокодиловой кожи.

– Эх, крокодил, крокодил, что твоя кожа против нашей бритвочки, – так смеется Разумовская, соседка по очереди, и трясет на худой коленке своего Павлика.

– Ну какое же счастье надо в жизни иметь, – хохочет Тася, – чтобы паспорт, и вызов, и деньги – все держать в кулаке… – Примерила ручки от сумочки себе на поясок и отдала Павлику, чтоб Разумовская ему штаны подвязывала.

Чижовскую фотокарточку Тася уже всем показала, а родительских ни одной нет.

– Мы на Зверинской улице жили, – рассказывает Тася, – Зверинская – это напротив зоосада, и летними ночами, когда все тихо, можно было послушать, как ревет лев. Родители думали, что меня засыпало, а я, что их бомба в тонну, представляете, а у нас седьмой этаж…

– Чудно, чудно, – Разумовская все трясет на коленях Павлика, – ах, какая вы везучая, Тася.

Радио в который раз объявляет, что победа не за горами, что следует потерпеть, что дороги заняты военными перевозками и что реэвакуация без надлежаще оформленных документов проводиться не будет. И не втолкуешь, не объяснишь. Домой, домой. Говорят, в сибирских городах даже еще похлеще, а в Средней Азии совсем жуть, жара такая, что кровь закипает, и все равно тронулась Россия обратно.

Тасина десятка, со сто сорокового по сто пятидесятый номер, расположилась в городском парке за вокзалом. Тасе всегда везет, народ подобрался отменный, подтащили скамейки, на случай стихийных неурядиц вымыли киоск «Соки, воды, сласти», там вещи.

Чухляй – прозвище. Чухляев – фамилия. Чухляев контуженный, бывший лекпом из морской пехоты. Теперь он здесь за царя, вроде старика Чижова, сам на перекличках проверяет номера, сам эти переклички назначает и сам же, если кого нет, вычеркивает. Притом жаловаться некому – и народ, и начальство на его стороне, беспорядка никто не хочет.

Сам Чухляев уедет не скоро, он из Крыма до станции Джанкой, а туда проезда пока нет.

Очень Тасе хочется съездить на Кузнечиху к Чижовым, вдруг Анастасий приходил, думала она, думала и надумала. Нарисовала на фанерке портрет Чухляя, как папа рисовал своих стахановцев и артистов, и пошла его искать.

Чухляев сидел у речки без ботинок, а выстиранные полосатые носки сушились на большом белом камне, перевел Чухляев взгляд с речки на фанерку и говорит:

– При таком таланте и фотографии не надо… Ты бы, девушка, не могла бы рядом капитан‑лейтенанта Зозулю нарисовать? – и достал из планшетки фотокарточку.

– Можно, – говорит Тася, – только он в зимнем.

Посидели они еще, подумали. Буксир по Двине прошел, волну поднял.

– Ты там обоим плащ‑палатки сделай, – говорит Чухляй, – а то мне можешь тоже автомат повесить… И еще хребет Мустатунтури пусти сзади в виде фона, очень я тебя, девушка, прошу, – и так разнервничался, что уронил носок в воду.

– Сделать, – говорит Тася, – в принципе, товарищ младший лейтенант, все можно, ничего невозможного нет, только для этого нужен настоящий карандаш. За ним надо ехать на Кузнечиху… А если проверка будет?

Чухляев давай кряхтеть. Кряхтел‑кряхтел и написал щепочкой на мокром песке: 16 часов.

– Не ради себя, – говорит, – так поступаю, ради капитан‑лейтенанта Зозули, – и тут же песок заровнял. – Есть, – говорит, – хочешь? Деньги на трамвай есть?

Вопрос не праздный, люди здесь по две недели живут.

Чухляев дал ей яблоко. И рванула она к своему киоску за новым платком, лодочками и вообще. А то в город выйти страшно.

Павлик играл мозаикой «Гибель крейсера Хиппер», отдала она ему яблоко, а матери его шепнула, что проверки до четырех не будет.

– Это что? – спросил картавый Павлик про яблоко. – Гъиб? – и есть отказался.

Собрались быстренько они и к трамваю, у Разумовской в городе знакомые с ванной.

До Союза печатников путь лежал мимо погреба, за пять дней бузина вся покрылась красными ягодами, такая красота. А вон и сломанная труба с осиным гнездом. Интересно, восстановили гнездо осы?! Или переселились? Тук‑тук‑тук – стучат каблучки по деревянному тротуару. Туфли на Тасе новые, шелковые чулки и темно‑синий свитер‑восьмерочка, он Тасю стройнит и вытягивает. «Был бы Чижов, – выколачивают каблучки, – ну был бы Чижов…» В луже рядом с мостками идет какая‑то каракатица, лужа исчезает, и Тася скатывает туда камешек.

Глафира Тасе не обрадовалась.

– Я вам платочек купила, – сказала Тася, – здесь такой мышонок вышит, Микки Маус называется, очень смешной… А Ивану Анастасьевичу крышечку на трубку, на ветру курить…

– Положи на стол, – сказала Глафира. – Вы только объясните про крышечку, а то он не поймет…

– Поймет, небось… Я сто сорок седьмая уже, – сказала Тася, топчась в дверях, – так что, может, больше не увидимся… И адрес здесь новый, ленинградский… Большая Зеленина. Можно просто писать: Б. Зеленина… Давайте я дров наношу?

– Ты здесь простыню оставила и рубаху, – сказала Глафира. – Мыша на платках шить, безобразники эти англичане…

Взяли они веревку и пошли за дровами. Тася про Чижова все хотела спросить, но не знала, как подступиться. Она и раньше Глафиры робела.

Глафира похвалила кофту, а в дровянике вдруг хвать Тасю за руку.

– Ох, – говорит, – девушка, у нас Пиратку соседская собака покусала, полезла я под дом третьего дня кормить, а на меня оттуда из темноты Тося смотрит большими глазами…

И от того, что она сказала, подкосились у Таси ноги.

В дровянике было полутемно и пахло сырой пылью. «Чепуха какая‑то», – начала успокаиваться Тася.

– Это известно в науке, называется галлюцинация, – чем большую неубедительность своих слов Тася ощущала, тем уверенней говорила, – на таких явлениях, между прочим, строятся различные религии и мракобесия.

– Верно, – сказала Глафира, – беда у нас, девушка, не спорь…

Вдвоем они пронесли через двор вязанки дров, из‑под сарая с кряхтением вылез исхудавший Пиратка и заковылял за ними на трех лапах, старательно обходя лужу.

«Ерунда, – уговаривала себя Тася, спускаясь к Валеркиному дому. На тощего Пиратку она боялась смотреть. – Даже думать смешно… Бабкины сказки, и все. Бабкины сказки, и все».

Но тяжесть с души не уходила. А с тяжестью на душе Тася просто жить не умела. Сырая улица без прохожих в этот рабочий час стала казаться полной скрытого зловещего смысла. На коленкоровой двери Валеркиной квартиры висел латунный черт, показывающий нос, – Валерки не было дома. Был час дня, времени оставалось немного, и Тася под мелким дождем побежала к трамваю.

Через проходную она проехала с Молибогой на его телеге, телега везла длиннющие уголки.

– Принципиальный у тебя папаша, генерал, – сказал Молибога, – чем на вокзале сидеть, прислал бы «Дуглас», и амба… – Молибога разговаривал грубо, ругал лошадь, прицельно плевал в лужи и отворачивал от Таси правую щеку с прыщом.

После срочного телеграфного вызова в порту считали, что Таська‑малярша – дочь известного генерала, потерявшаяся в блокаду.

Свитер‑восьмерочка, шелковые чулки и новые лодочки, купленные на присланные из дому деньги, сразу выделили Тасю из портовой среды.

Но спорить – означало только огорчать собеседника, поэтому Тася спорить зареклась, но Молибоге сказала:

– Мой папа – майор, военный художник, член Академии художеств, и зовут его Марат, я Таисия Маратовна, а генерала Желдакова имя – Михаил, он однофамилец…

– Врешь, – обиделся Молибога, – бабы в кадрах интересовались…

Тася засмеялась и угостила Молибогу купленной в коммерческом магазине конфетой «Дюшес».

– А говоришь, не генерал… – Молибога поглядел в фантик на свет. – Дюшес – это груша, – объяснил он Тасе, – сладкие, собаки, – и незаметно спрятал фантик в рукав на память.

Они обогнули лесовоз «Небо Советов» и сразу же увидели подвешенную Дусю.

– Ха! – сказал Молибога.

Дуся – не Тася. Подвешенная Тася злилась и пела песни, Дуся старалась не плакать.

– Туфли погубишь, – крикнула она Тасе, – совсем с ума сошла!

– За что тебя?

– Под трубой не загрунтовала… – Дуся отвернулась и заревела, норма у нее не шла, в другой бригаде, может, и сошло бы. – Волчица, – плакала Дуся, – ну забыла я, ну скажи, целое кино устроила… у меня тоже муж был с положением…

– Эй, генеральша, – на полубаке появилась бригада, кто не доел, тот жует, обсасывает косточки.

– А нам говорили, за тобой самолет прислали, летчик‑майор, и бомбы шоколадные! – орут бабы и хохочут.

– А я картоху купила, – Тася показывает сетку с купленной по дороге картошкой. – Сейчас сварю, пошли, Молибога…

– Ты, когда сварится, сигнал подними, – Молибога опять плюнул в лужу и поехал, грохоча уголками.

– Я к начальнику порта поеду, – вдруг психанула внизу Дуся. – Я вам не девочка, у меня дети есть…

– Сама вредительство разводишь, – взвыла Агния, поднимая Дусю, – грунтовку наложить забыла!.. Ты сперва карточки получить забудь… Способная какая. Я гляжу, красит и красит… бракоделка.

– Ты на суде ответишь… – рыдала Дуся.

Дул ветер, орали бабы, кричали над рекой чайки. На английском корвете появился рыжий кок с тазом, кормить собак. Собаки приходили сюда со всей округи, где еще подхарчишься.

– Ша!.. – крикнула Агния. – Работать! – дала взглядом понять, что скандал – дело внутреннее, а не международное.

И с этим ее взглядом все мгновенно согласились. Не будь английского кока, нашлась бы другая причина, – не орать же целую смену.

Агния работала на трубе, не всякий мужик рискнет, уйди завтра Агния, непонятно, что будет с бригадой, небось та же Дуся вприпрыжку бы побежала умолять вернуться. Без Агнии слабосильная Дуся не закрыла бы ни одного наряда.

Кр‑р‑р, кр‑р‑р – заскребли мастерки.

– «Ты правишь в открытое…» – завела Тася и увидела, как Агния заулыбалась ей с трубы всем своим худеньким лицом. И ощутила в груди такую к ней и ко всем бабам любовь, что тут же пообещала себе, что, как только купит билет, на все оставшиеся деньги устроит пир.

«Водочки куплю, яичного порошка и, может, испеку „Наполеон“. Доеду как‑нибудь, – подумала она и пошла на полубак мыть картошку, – буду в окошко смотреть».

– «В такую дурную погоду нельзя подчиняться волнам», – первым голосом вела вместо нее Дуся.

Рыжий кок на корвете притащил аккордеон и начал подбирать.

– Одинокий, как его же собаки, – сказала про него Дуся, – у них по‑английски кот будет тутц и не кис‑кис‑кис, а тутц‑тутц‑тутц, а наши коты боятся…

Тася стала переливать из бидона в ведерко воду и заметила незнакомый тральщик, который вываливался из‑за красной башни. Тральщик что‑то тащил, вроде десантную баржу.

Воды в бидоне – помыть картошку – не хватало, и Тася пошла в каптерку, она не услышала, как бабы перестали петь. И когда мастерки стучать перестали, тоже не заметила. Вышла на яркий день и ослепла, как сова.

Первой она увидела Агнию, перегнувшуюся на трубе, так нормальному человеку и не усидеть, потом поразилась тишине. Ни здесь, на «Бердянске», ни вокруг на судах не работали, вода из кастрюли плеснула на лодочки, она ругнулась и тут же увидела «Зверя», это его тащил тральщик, черного, скрученного и обожженного. И флаг, и вымпел были приспущены и казались яркими на этой страшной головешке. Носовая пушка была согнута и задрана, как хобот у слона, около нее курили и не глядели по сторонам два незнакомых матроса в ярких спасательных жилетах.

– Мамочка, – сказала Тася и уронила кастрюлю с картошкой.

На английском фрегате заиграли дудки, там строили караул. Офицер что‑то прокричал, и все там сняли шапки и положили их на согнутые локти…

Бум! – выстрелил на фрегате мушкет.

А‑а‑а‑а… – завыли сирены на «Хасане», а‑а‑а‑а… – подтянули другие транспорты.

– Мамочка, – еще раз повторила Тася, – мамочка, мамочка… – и отвернулась от «Зверя», чтобы не видеть, и увидела, как Агния бьется головой о трубу, со всей силы разбивая лоб в кровь.

«Зверя» ошвартовали на пирсе подплава за красными оружейными мастерскими. Тасю и Агнию, которые приехали на Молибогиной телеге, туда не пустили. Командир со «рцами» попросил принести документы, подтверждающие родственные связи или регистрацию брака, и добавил, кивнув волевым выбритым подбородком на лоб Агнии, разбитый и перепачканный ржавчиной:

– Вы бы умылись, гражданочка, – постоял, козырнул и ушел.

Они долго сидели под дождем на штабеле досок. Когда уже смеркалось, прикатил, разбрызгивая воду, Валерка, он был в огромном брезентовом плаще и сразу позвал Тасю. Чтобы идти подольше, она пошла вокруг лужи.

– Тоська раненый, но живой, – деловито сказал Валерка, – как говорится, жить будет, но петь никогда… Зато представлен к ордену Нахимова, во какой орденище, – он показал здоровенную свою ладонь, – еще там трое живые…

По тому, как он говорил, и по тому, что ее не позвали, Агния все поняла, тоже подошла, но спрашивать не стала.

Трамваем приехали старик Чижов и Глафира. Они сидели здесь же на досках, на другом конце, как две корявые птицы, и не разговаривали.

Агния встала и, не прощаясь, пошла к «Бердянску», голова у нее была маленькая, солдатские «прогары» большие и без шнурков, со спины она была похожа на уходящего Чарли Чаплина. Ее догнал Молибога, предложил подвезти, но она с ним не поехала, все шла пешком.

С севера пришел снежный заряд, все вокруг стало белым, как зимой. Старик Чижов и Глафира сидели под падающим снегом и дышали, как рыбы, открывая и закрывая рот.

Весь этот вечер во всех его подробностях Тася будет помнить всю жизнь. Как приехал Валерка и уходила Агния, как приехала жена Дидура в мокрой от снега зеленой кофте и, прижимая кулачок к солнечному сплетению, бегом, через КП побежала на пирс. Как у нее, у Таси тоже болело солнечное сплетение, и она прижимала теплую ладошку, от тепла, казалось, болит меньше. Как она решила уходить, встала, доски подскочили, и упали старики, и они с Молибогой их поднимали. Как прошел к пирсу подплава адмиральский катер, его называли «Петруша». Как после отбоя на кораблях крутили пластинки, а в баню протопал комендантский взвод. Как били склянки на «Ученом Ломоносове». Как подъехала, разбрызгивая воду со снегом, тяжелая черная машина командующего, и офицер со «рцами» в сдвинутой на затылок фуражке усаживал в нее Чижовых, и еще раз, уже в глубине машины, – белое лицо жены Дидура, она дернула бусы, они ей мешали дышать, веревочка лопнула, и бусы рассыпались.

Но ни Тасе, ни старику Чижову, ни даже волевому дежурному со «рцами» не дано было знать, что катер «Петруша» привез командующего и специалистов Главного Морштаба из Москвы, что катер пришвартовался рядом со «Зверем» и что вывод специалистов был единодушен.

– Значит, заключаем, – сухо сказал командующий, – судно поражено наводящимся по винтам устройством, конвои следует оснастить приспособлением, дающим больший звуковой импульс, чем винты… Так, товарищи! – И, глядя на изуродованные и печальные останки «Зверя», добавил: – Считаю, команды обоих судов совершили героический подвиг, именно так, по‑другому не назовем…

Медленно, как на фотобумаге при проявке, на порт, на корабли, на скрученного черного «Зверя», на сияющего надраенной медяшкой «Петрушу» накладывается другое изображение – «Зверь» и землечерпалка выходят на траверз острова Моржовый.

Конвой на север, советский флаг,

в морских глубинах коварен враг!

Уже победа видна, видна,

прощай, морячка, – одна, одна! –

поет голос и бренчит, бренчит балалаечка.

Место последнего боя «Зверя» на траверзе острова Моржовый считалось нехорошим – самое лодочное место. И на «Звере» стеклянные рамы в рубке были вынуты по‑боевому. Только что прошел снежный заряд, небо в расхлябанных тучах сидело низко, где побелее, где посерее, где скалистые берега, без визира не увидишь. Волна шла длинная, а‑ах, а‑ах – ахала сзади землечерпалка и кланялась высоким своим ковшом.

Чижов спал в рубке, как всегда спал в походе, в углу, в кресле, оставшемся от старых хозяев рыбаков, вернее, не в кресле, а в сооруженном в нем гнезде из двух жарких овчинных тулупов и реглана. И снилось ему, что соседский бык Крюк на самом деле не бык, а Гитлер, замаскировавшийся под быка.

– Бык Крюк, Тосенька, который тебя гонял, выясняется, не бык, а Гитлер, – говорит ему мама, она большая, широкоплечая и грудастая. Как Тася. Мелкая чижовская порода шла от деда. – Его сейчас, Тосенька, арестуют, вот какая радость! – И они бегут смотреть, как его будут арестовывать.

Бык Крюк стоит за обвязкой огорода, действительно, не то бык, не то Гитлер, одна нога в высоком лакированном сапоге, на этом и попался, и знакомая челочка, как раньше‑то не замечали. Оттого, что все оказалось так легко и просто, и оттого, что Крюка сейчас арестуют и все кончится, все радовались, ликовали и пели. На огороде стоял грузовик, начхоз продавал детям лимонад и пирожки, и чей‑то голос сказал:

– Право двадцать. Вижу шапку дыма.

А голос Макаревича ответил:

– Шлейф от тучи… Внимательнее, сигнальщик!

Чижов заставил себя проснуться, вытер рукавом тулупа лицо и спросил Макаревича, в чем дело.

– Шлейф от тучи… Отдыхай, командир, – сказал Макаревич, лицо его на ветру было красное, почти бурое, у них у всех к концу вахты делались такие лица. – Примерещилось сигнальщику… Скоро ведьму на помеле видеть будут… Вестовой, погорячее чаю! Черт‑те знает!..

Хлоп‑хлоп, хлоп‑хлоп – «Зверь» наползал на волну, чехлы на носовом орудии сняты, за орудием дальше горизонт, серая студеная вода, в темном небе разрывы, не то что чистое небо, тоже облака, светлые дыры, кажется, там сейчас бог на коне появится, но бога нет, а есть не то шлейф от облака, не то дым.

– Черт‑те знает… – Чижов вылез из гнезда, на ветру сразу зазнобило, ему не нравился этот шлейф, и он сразу подумал, что сигнальщик, а не Макаревич прав, но покуда промолчал.

Макаревич это молчание понял и стал искать папиросы.

– Скоро Дровяное, – он поправил воротник чижовского реглана, – какой же дым, никакого не может быть дыма, – достал таблетку фенамина и проглотил, поморщившись.

– Ты кончай эту дрянь кушать, – сказал ему Чижов, – выброси вовсе… Я и лекпому скажу. Пусть иностранцы кушают…

Макаревич промолчал, все глядел на этот не то дым, не то шлейф. И опять поморщился.

– «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой…» – пробормотал он.

Со своего места Чижов видел акустика, когда на зигзаге волна хлопала «Зверя» по скуле, лицо акустика болезненно дергалось. Пронзительно насвистывая «Темную ночь», на палубу поднялся Черемыш, и на мостике сразу запахло цветочными духами.

– С днем рождения, командир, – сказал Черемыш, втягивая холодный с брызгами воздух, и протянул Чижову дюралевый портсигар, – здесь я ордена вырезал, а здесь чистое место, разживетесь, дорежу… Рай, кто понимает, – сказал, вглядываясь туда, куда смотрели все, – плыл какой‑нибудь грек под парусом, вез бычки в томате и не подозревал, что на него с высокой скалы глядит Пушкин…

А‑ах, а‑ах – стонала сзади землечерпалка.

– Почему Пушкин? – вскинулся Макаревич. – Ты же офицер все‑таки, а не… – и замолчал.

– Ну не Пушкин, – мягко согласился Черемыш, фуражку у него сдуло, он ее поймал и отряхнул об колено, – ехал грека через реку, – бормотал он, – видит грека в реке дым… А ведь это дым, а, командир?!

– Не люблю, когда офицеры душатся, – сказал Макаревич, надеясь, что это не дым, но уже понимая, что, скорее всего, ошибся.

– Боевая тревога! – скомандовал Чижов. – Передавайте, право тридцать – шапка дыма… Допускаю морской пожар… – Он допил чай и аккуратно положил стакан с подстаканником в сеточку.

Черемыш ссыпался вниз в свой «гадючник», люк с броняшкой захлопнулся, остался запах нагретого масла и цветочных духов.

– Нет квитанции, аппаратура в норме, снежный заряд, – сказал радист. После снежного заряда связи все еще не было ни с Дровяным, ни с базой.

– Внимательнее, штурман, – зло сказал Чижов Макаревичу, – у нас, конечно, не Япония, – и сначала подумал, что ничего такого Макаревич не сделал, просто много взял на себя, но тут же возразил себе, что уж слишком думает Макаревич про лысеющую свою жену и что команда не виновата. И, подумав так, он не сдержал себя, а так и сказал, а сказав, не пожалел: – Команда не виновата, что у вас супруга лысеет, товарищ лейтенант, так что прошу выполнять свой долг, – встал, забрал у него ручки машинного телеграфа и краем глаза увидел, как побагровела шея и бритый затылок Макаревича.

Нет квитанции. Дровяное не отвечает…

Прокричал ревун, заскрипел элеватор, подавая снаряды к орудию, откуда‑то с невидимого берега прилетели два глупыша, стали нырять в пенный след за кормой, Чижов перевел ручки телеграфа, с удовольствием почувствовал, как дернулась под ногами палуба, машины на «Звере» были мощные, удачной довоенной постройки, и облегченная нынче корма давала дополнительные возможности.

– Право сорок. Ясно вижу дым морского пожара! – прокричал сигнальщик.

А‑ах, а‑ах – кланялась землечерпалка, выдавливая из угольных своих котлов последние мощности. Дым из ее высоченной трубы сносило к воде. Там, где был пожар, дым тоже теперь сносило, оторвав от темного, верхнего теперь облака.

– Гладких, – сказал Чижов, – это Гладких горит, вот что…

Ветер крутил крупные снежинки, опять задул снежный заряд, будто и не лето вовсе.

– Квитанции нет… Дровяное не отвечает…

– Внимательнее глядеть…

Пробежал, бухая прогарами, дополнительный наряд сигнальщиков, сапоги оставляли на заснеженной палубе глубокие следы, они тут же заполнялись черной водой. Хлопнул, будто выстрелил, на зигзаге брезент.

Вот они.

Патрульное судно «Память Руслана» не горело, оно, по сути, уже не существовало, догорала черно‑рыжая, отвесно торчащая из воды корма, она держалась из‑за пробки в заваренных трюмах, пробка и дымила. Задранные вверх, нелепо торчали толстые гребные валы с обрубленными лопастями. Волна разметала обломки, на подзатонувшем бидоне сидела чайка, и на снегу были ясно видны крестики ее шагов, и – ни вельбота, ни плотика. «Зверь» шел стремительно, противолодочным зигзагом, только хлопали сырые брезенты на обвесах.

– Вон как его, – крикнул Макаревич, – веером выстрелила, что ли, или как, командир?!

Они понимали, что торпеда пришлась по винтам, что было дальше – вот вопрос.

– Веером выстрелила? – опять забормотал Макаревич. – Что ж, может быть, ничего не может быть…

– Внимательней, сигнальщики!.. – приказал Чижов. – Радист, есть квитанция?

– Дровяное не отвечает. Квитанции не было.

– Чаю, – крикнул Чижов вниз, – и погорячее! – От напряжения болела шея, он повертел головой и удивился, что абсолютно спокоен, голова работала четко, и мысли были четкие, будто он их читал.

«Зверь» шел теперь вторым, большим кругом, и где‑то в этом кругу болтались остатки «Руслана» и ахала на волне землечерпалка. Снег пошел реже, и побелевший ковш землечерпалки то исчезал, то опять возникал по левому борту и все кланялся.

– Сигнальщики, каждому держать свой сектор! Внимательней, сигнальщики!

– Дровяное не отвечает…

– Пишите. – Чай плеснуло на пальцы, Чижов встряхнул рукой и стал прихлебывать мелкими глотками, не ощущая вкуса, и опять отметил на себе взгляды носового расчета, боцмана и сигнальщиков. Он придумал это, так спокойно пить чай на глазах команды, в первом же самостоятельном бою, и всегда гордился и радовался, что так придумал.

Снежный заряд уходил внезапно, как налетел, может быть, проколесив над морем, именно он через трое суток засыпет снегом сидящих на пирсе подплава его стариков, Тасю, Валерика и Молибогу.

На глазах светлело, море вроде раздвигалось во все концы, судно было белое, леера черные, черные проплешины были и на мостике и у орудий. Волна успокоилась, и за кормой стал возникать след.

Дышалось легко и глубоко.

– Лодки как будто, – сказал Макаревич.

И Чижов сразу увидел лодки. Они возникали из уходящей снежной мути ясно и четко, четче не бывает. Одна огромная, длинная и пузатая, с короткой, будто срезанной, могучей рубкой. Океанская лодка из Атлантики. В штабе флотилии говорили, что они вот‑вот прибудут, вот и прибыли. Другая была меньше, длинная хребтина ее была занесена снегом. Лодки стояли. Точка рандеву у них здесь была, что ли? Хотя это и не имело уже сейчас значения.

– Океанская, – сказал Макаревич, – типа «И»… – облизнулся, зрачки у него стали большими и желтыми, как у кошки.

И тотчас они услышали срывающийся на визг крик сигнальщика:

– Вижу две лодки, две лодки – лево тридцать.

– Сейчас они мешки развяжут, – печально сказал Макаревич, – ух у них мешки…

Вот и все. Эта мысль пришла спокойно, откуда‑то со стороны, вроде ни к нему, Чижову, ни к его кораблю не имела она отношения. Как ни крутись, и кого ни кори, и чего ни шепчи сам себе, это было все. Маленький «Зверь» с задранной, набитой пробкой кормой, с землечерпалкой под опекой – третий в этом рандеву. Разбежался, лучше не скажешь.

– Дым! – крикнул он, и ему показалось, что от унижения и бешенства он сейчас заплачет.

«Лодки, лодки, лодки, – стучал радист, – типа „И“, типа „И“, – ждал квитанцию и стучал опять: – лодки, лодки…»

На отворачивающей землечерпалке хлопал ратьер, рядом матрос для надежности писал шапкой: «лодки, лодки», будто они и так не видят.

Струя черно‑серого дыма вырвалась наконец из трубы за спиной Чижова, он обернулся посмотреть, как ложится на воду завеса, и глянул на корму, но пелена черного дыма из трубы уже закрывала шканцы, кормовое орудие, матросы тащили от элеватора мокрые болванки. Бондарь с гаечным ключом стоял на коленях, ему нужно было ставить дистанцию.

– Фугасами! – проорал Андрейчук, и дым накрыл его, расчет заднего орудия и кормовой эрликон с вросшим в сиденье, белым от снега Титюковым с тяжелыми хомутами на плечах.

Не выполнить задания они не могли, разница в огне, даже не считая торпед, давала им всего несколько минут жизни. Вот что можно было еще сделать – это пристроиться к одной из лодок, влезть между ними, попробовать повредить одну, тогда второй будет не до них, просто невыгодно будет, неэкономично заниматься «Зверем» и земснарядом. Потом, мало ли что будет потом, поставить дым и уйти.

– Будем разрезать! – крикнул он Макаревичу. – Войдем между лодками. – И, увидев его ставшее серым лицо, прибавил: – Будем атаковать, прикажите команде прихватиться… А потом поставим дым опять, поняли, и уйдем, а, Макароныч?.. – И обрадовался, потому что лицо у Макаревича стало счастливым, и не оттого, что появился шанс, а оттого, что Чижов назвал его Макаронычем, а значит, простил шлейф от тучи. Нехорошо было бы потонуть, держа зло на душе.

Океанская лодка развязала наконец мешок в сто десять своих миллиметров. Всю ее махину качнуло. Снаряд лег далеко сзади. Они рассчитывали, что «Зверь» за дымом уходит.

– Будем разрезать, – говорил в трубку Макаревич командирам БЧ непривычно высоким, странно счастливым голосом, – пусть команда прихватится… Будем входить в створ между лодками… Разъясните команде, как Нахимов с турками…

Прибежал Андрейчук, уже без реглана, и Чижов приказал:

– Как выскочим из дыма, стреляйте только по правой лодке и только под вздох.

Андрейчук попил воды и исчез в дыму так же внезапно, как появился. Левая – океанская – лодка выстрелила второй раз, Чижов дал винты в раздрай, так что в трюмах у «Зверя» хряснуло и застонало, снаряды опять легли далеко сзади.

– На вот, выкуси! – сказал Макаревич.

Они долго вертелись в густом дыму, Чижов все боялся просчитаться. Всех душил кашель, заливало слезами. Потом он скомандовал:

– Еще доворот на пятнадцать…

С большой высоты можно было бы видеть лодки, океанскую и поменьше, белую и черную, маленький вертящийся «Зверь», рыскающий носом туда‑сюда, чтобы не просчитаться, стену завесы серого клочкастого дыма между ними, Чижову везло, и можно было бы видеть, как дым несло к лодкам и как «Зверь» опять приблизился, и длинные желтые и веселые вспышки из большого калибра лодки над серой, похожей на сталь студеной водой. И земснаряд в стороне, медленно уходящий к острову.

Опустись ниже – все закроет дым.

Воздух резко посветлел, и они вывалились из завесы, и увидели лодки очень близко, и задохнулись от воздуха и от того, что так близко. Лодки стояли. «Зверя» не ждали по эту сторону, и ему сразу удалось проскочить и завертеться между ними. Теперь они не могли стрелять ни из орудий, ни торпедами, если торпеды у них и были. А «Зверь» мог.

– Фугасами‑и‑и!..

Только сейчас Чижов увидел, что у них было за рандеву, у этих лодок. Малая лодка В‑251 была повреждена, видно, не так просто далась ей «Память Руслана». Ну конечно, как Чижов сразу не заметил дифферент и желтый дюралевый баркас под шпигатами, водолаза они спустили, что ли.

– Это Гладких ей под дыхало дал напоследок! – крикнул Чижов. – Уже когда винты оторвало, она всплыла, и он ей под дыхало дал… Молодец, геройски себя вел. Фугасами‑и‑и!

«Зверь» стрелял как на учениях, ревун – выстрел и толчок, то в скулу, то в корму. С мостика было видно, как лопаются здоровенные пузыри краски, на стволе носовой пушки. Лодка была достаточно близко, и Чижов видел, как она продувалась, пытаясь погрузиться. Вода вдоль пузатого, в подтеках борта вскипала белыми шарами. Даже помои и консервные банки были видны, туда, в эти помои, в эти пузыри, и шла трасса сэрликона под двойной борт, в «ноздрю», зверя надо бить в ноздрю. Здесь, на промыслах, знал это каждый пацан. «Гостья» – лодка из Атлантики – меняла угол. И Чижов тоже поменял – накось выкуси! Из танков подбитой лодки потек соляр, вода под бортом будто заледенела, и в ней плавал блестящий от нефти дохлый немецкий морячило в плаще. «Гостья» ударила кормовым орудием, ее качнуло, раз ударила, два – не по «Зверю», по землечерпалке. И накрыла. Да и как ее было не накрыть. Переломились опоры стрелы, стрела повалилась, кладя землечерпалку на бок, вытягивая из воды огромное рыже‑красное беззащитное брюхо, водопадом с него лилась вода. Потом снаряд ударил в днище, оно вспухло черным, вокруг днища покатились огромные белые шары, и вдруг ахнуло – взорвались котлы.

– Фугасами‑и‑и!..

Когда через несколько секунд Чижову удалось посмотреть в сторону землечерпалки, на воде вздымалось рыжее с пробоиной днище, на котором никого не было.

Белая хребтина лодки тоже накренилась, черные дыры‑шпигаты почти на воде – самое время.

– Дым, – приказал Чижов.

Бондарь бил капсюля на дополнительных бочках, краснофлотцы катили их к борту, уже горящие, фыркающие густой серой струей. «Гостья» все отворачивала, и Чижов опять повел «Зверя» в дым.

Они успели перейти на зигзаг и даже пройти немного, как «Зверь» содрогнулся и откуда‑то донесся длинный воющий крик.

– Попали! – крикнул Макаревич и побежал на корму.

Чижов перегнулся через обвес вниз и назад, чтобы тоже увидеть, куда попали, но не успел, разорвался второй снаряд, и его швырнуло в рубку, под кресло с гнездом из регланов, но он повернулся, как кошка, и встал на ноги с перекошенным от злобы лицом. «Зверя» катило вправо, машины не работали, было тихо, и только явственно были слышны крики команды и треск пожара на корме.

Черемыш прибежал на мостик и доложил, что запускает вспомогательное дизельное динамо. Надо было уходить, уходить, не погонится за ними лодка.

В эту секунду радист крикнул, что есть квитанция, случись эта квитанция раньше, хоть на два часа, когда они увидели, как горит Гладких, они могли бы на что‑то рассчитывать, сейчас нет, хотя это и была маленькая победа, особенно если на лодке радиоперехват запеленговал квитанцию. Откуда‑то с кормы полз едкий дым, горела краска в кладовке и настил у кормового элеватора, там, в дыму и пламени, невидимые ему, распоряжались Макаревич и Андрейчук, туда волокли шланги, кошмы, песок. Носовое орудие на зигзаге вновь выстрелило, но люди там были уже другие.

Внезапно, как молотилка, застучала под палубой машина, железная обшивка привычно дернулась под ногами, Чижов выровнял «Зверя» и успел увидеть лицо сигнальщика с расцарапанной биноклем переносицей. В следующую секунду они оба увидели торпеду, зеленую, лобастую, с серебристым бурунчиком по загривку, и длинную, прямую, как по линеечке, шлейку белых пузырьков воздуха за ней они тоже увидели. Чижов рванул ручки, под палубой опять что‑то хрустнуло, он начал маневр по уклонению даже раньше, чем сигнальщик крикнул: «Торпеда!» Винты опять работали в раздрай, и корма послушно пошла влево, но и головка торпеды повернула, это было ясно видно, яснее не бывает, как искривился шлейф белых пузырьков на воде. Чижов приказал Тетюкову стрелять по торпеде, и они успели выстрелить из пушки, и очередь из бофорса потянулась туда же. Чижов все уводил корму влево и кричал в мегафон, чтобы расчет кормового орудия отошел, и успел увидеть, как зеленая головка торпеды опять дернулась, и желтые латунные лючки на ее длинном корпусе, и черные буквы он тоже успел увидеть, и краснофлотцев, бегущих за надстройку, и машущего рукой длинного Макаревича – он кого‑то тащил.

И тут же с кормы, оттуда, где был Макаревич, поднялся столб грязно‑черной воды и закрыл море, лодки и небо.

Когда Чижов пришел в себя, то сразу увидел, что «Зверь» все катит вправо, хотел выругать рулевого, но увидел, что рулевого нет вовсе, что рулевой убит и висит на обвесе, и понял, что приказывает убитому, и тут же услышал, что не выговаривает слова, а только хрипит и открывает рот. Докладов больше не поступало, орудия не стреляли, штуртрос, очевидно, был перебит, и руль не слушался. «Зверь» погружался носом, ветер снес завесу, и клочья дыма над водой были не от завесы, а от горящего «Зверя» – серые клочья под цвет неба.

Лодки в полумиле были ясно видны. Большая принимала команду малой, та совсем накренилась. И еще Чижов увидел, что флага на гафеле «Зверя» уже не было.

– Сейчас, – забормотал Чижов, закрывая ладонью рот, – сейчас, дорогие мои…

Он шел по развороченной, горящей, исковерканной палубе своего корабля, узнавая мертвых командиров, краснофлотцев и старшин. Какая‑то сила воли вела его на корму, он, видно, был не в себе и что‑то бормотал, как старик, и гладил мертвых по голове, стараясь, чтобы кровь, текущая изо рта, на них не попадала. У сушилки он увидел мертвого Андрейчука, брючина высоко задралась, открывая штопаный носок, он дернул брючину, погладил его по щеке и пошел дальше. Ему казалось, что за дымом, на корме, могут быть живые. И точно, здесь он увидел Тетюкова и начхоза, которые возились у пушки, пытаясь выстрелить, и маленького вестового, который стоял на цыпочках и держал в вытянутых руках сорванный с гафеля флаг, накось выкуси. Часть кормы была оторвана, винты отрублены, оттого что нос погрузился, толстые гребные валы торчали над водой. Втроем они кое‑как зарядили орудие. Втроем кое‑как выстрелили.

– Все, – сказал Тетюков и рукавом форменки вытер с лица кровь, как вытирают пот. – Умираем, ах! – сел прямо на палубу и покачал птичьей головой.

– Покури‑покури, – громко, в самое ухо кричал Чижову начхоз и толкал в его окровавленный рот папиросу, – посильнее потяни, во…

Чижов ничего не слышал, но кивал головой. Над малой лодкой вдруг поднялся черный горб, и ахнуло. Большая, погрузившись под среднюю, выстрелила в нее торпедой. Когда уродливый черный горб осел, лодок на поверхности не было. Один пустой дюралевый баркас на застывшей из‑за соляра воде.

Нос «Зверя» все погружался, кормовое орудие задиралось в небо, потом сорвалось и понеслось вниз по наклонной палубе, налетая на кнехты и стреляные гильзы. Била в задранную искалеченную корму волна, всего этого Чижов не слышал, они сидели вчетвером, прихватившись за кнехт, и неподвижно смотрели туда, где недавно стояли лодки, и на пустой баркас. Потом пошел снег.

Пришла ночь, и Тася поехала на вокзал. Пришел бы трамвай до центра, поехала бы на почтамт маме позвонить, пришел до кольца – поехала на вокзал за вещами, не сидеть же здесь ночью. Она промокла и замерзла, ее трясло. Трамвай остановила милиция, дуга сильно искрила и нарушала затемнение, с этим покуда еще было строго. И пока разудалая кондукторша топотала по крыше вагона и лупила там кувалдой, бабка, из поморок, тихо рассказывала, что сегодня вечером в горсаду, у вокзала, органы задержали диверсанток, которые разожгли костер с целью навести немецкие самолеты.

– Уж навряд ли, – сказала ей Тася из своего угла, – холодно людям, вот и сглупили, и не трещите, как мотоцикл, от вас голова болит…

Голова действительно болела, было холодно. Тася вышла из трамвая и бегом побежала к вокзалу. Трамвай тронулся почти сразу же, обогнал ее, и синие огни тут же пропали.

«Лето проклятое, – думала Тася, – ах, что за проклятое лето, почему так холодно…»

– Пых‑пых‑пых, – передразнила ее Мария, высовывая нос из мужского пальто в елочку и пестрого иностранного шарфа. Мария в очереди была сто сорок восьмая, она из Львова, и чуть что не по ней, сразу плохо понимает по‑русски, сейчас же, на удивление, все понимает и говорит приветливо, с опоздавшими и вычеркнутыми старается вовсе не разговаривать. – Тебя Чухляев два раза спрашивал и велел прийти к нему в павильон за каруселью…

– Не вычеркнул, что ли?

– Кто ж тебя вычеркнет?

– А Разумовская‑то где?

– Она странная, – говорит Мария, – ничего не думает. Ушла мыться на полдня, а сразу проверка… Захотелось быть мытой, а получилось – битой. Продай папиросу…

Тася на буржуазную привычку отвечать не стала, с реки потянул ветер, ее опять заколотило. Она с трудом нашла свой рюкзак в углу киоска среди других мешков и чемоданов.

– Холодно, ах, холодно, – бормотала она, покуда тащила мешок и шла к карусели.

По дороге к карусели стоял старинный памятник, изображавший корабль во льдах, на одном из четырех чугунных витых столбов горела дежурная лампочка, в ее синем свете Тася сразу же увидела идущего навстречу Чухляя, в узкоплечем, широком в бедрах кительке, с пухлой сумкой. Тасю он в тени не видел, и, когда поравнялся с ней, Тася выскочила и попробовала огреть его мешком. Она сама не ожидала этого, Тася вообще сперва била, а потом думала, был за ней такой грех. И тут, скорей со страху, хотела сказать такое, чтобы к месту пригвоздить гада, но слов не было, мешок был лучше. Чухляй выкатил глаза и запыхтел, вцепившись и перехватив мешок.

– Паразит, – шипела Тася и рвала на себя мешок, – паразит ты, вот ты кто… Зачем наврал с проверкой, паразит?

– Я тебя в милицию, – пыхтел Чухляй, – я тебя в милицию.

В кармане у него был свисток, Тася знала это, но он боялся отпустить мешок, чтоб не получить вторично.

– Я в милиции скажу, я в милиции скажу, – шипела Тася, пытаясь дотянуться ногой до тощего чухляевского зада, но Чухляев прыгал, и у нее никак не получалось.

Тася еще не знала, что она скажет, мысль пришла внезапно, она годилась, Тася даже засмеялась, это была не мысль, это было золото.

– Я в милиции скажу, что ты уговаривал меня разжечь костер. И из очереди не вычеркнул потому, что боялся, что я открою. – Она уже понимала, что Чухляев отпустит ее. И совсем не удивилась, когда так случилось. – Вы утром сто сорок шестую найдите, – руки у нее дрожали, она сунула их между колен и стиснула, – и запишите на мое место.

Чухляев потоптался и подошел к ограде, поискал в кармане папиросы, но не нашел, тогда Тася достала свои «Дели» и зажигалку.

– Дрянь, – вдруг сказал Чухляев.

Тася этого вовсе не ждала.

– И молодая, – Чухляев подумал и соединил два понятия, – дрянь молодая, – сказал он ей, – отдай капитана, – и завертел головой.

Тасе внезапно стало жарко, будто и не мерзла только что.

– Я лучше нарисую, я глупость сказала, вы простите…

– Отдай капитана, – крикнул Чухляй, – не желаю от дряни!..

– У вас шнурок развязался! – крикнула в ответ Тася. – Я карандаш взяла, я эту Разумовскую пожалела, нельзя, что ли… У меня мужа сегодня ранили, он оглохнет, наверно, и будет хромым…

Тася отошла и вдруг, как Агния, ударилась лбом о чугунный столб, сначала не сильно, больше для Чухляя, чтобы он простил, а потом уж для себя, чтобы унять боль, которая вдруг колом встала в желудке, она впервые представила себе Чижова глухим и хромым, и задохнулась, и долго плакала.

– Ты мне все равно отдай карточку, – попросил Чухляев, когда она успокоилась, – а я для тебя все сделаю.

Потом спрятал фотокарточку в сумку и поморгал.

– А то я бы смотрел на картинку и вспоминал бы не капитана, а тебя. А тебя, девушка, я вспоминать не хочу, – и пошел по дорожке из битых кирпичей. – Я хочу про радостное вспоминать, – не поверил он про мужа, – но тебе меня не понять.

Тася достала из мешка пальто на ватине, летнего у нее не было, и затопала в город.

Пиратки во дворе не было, чижовский дом спал, она поднялась на второй этаж, не раздеваясь легла на свой сундук, матраца не было, Глафира его убрала, табуретки тоже не было, поджала ноги и заснула.

Во сне ей снилось, что комната горит и у кровати сидит женщина в красном платье.

Утром она проснулась, увидела за окном густой ватный туман и увидела, что лежит в комнате старика и что на тумбочке стоит молоко и лежат пирожки. В доме топилась печь, этому она тоже удивилась, потому что было лето, потом посмотрела на странно исхудавшую свою руку с остановившимися часиками и поняла, что, должно быть, долго была больна. За окном звенела пила, и было слышно, как старик Чижов выговаривает эвакуированным, что не закрыли колодец, что в воду летят листья.

Потом она увидела ночной горшок и от ужаса закрыла глаза.

После госпиталя Чижов, по ходатайству адмирала, получил под командование большой морской буксир. Это было естественно, командиров, награжденных орденом Нахимова, на флотилии было раз‑два и обчелся. После ранения Чижов заикался, но не сильно, и на буксире с этими недостатками можно было работать. Война гремела уже под Берлином.

На рассвете этого дня буксир тащил транспорт, пришедший с пленными из Киркенеса, город начинали асфальтировать, и велись большие ремонтные работы. Чижов стоял на корме и вглядывался в бледные лица на транспорте. Пришел начхоз – он тоже здесь служил, но теперь старпомом – и сказал, что разболтало шатун.

– На той посудине моряки есть, – добавил он и кивнул на транспорт, – но говорят, что береговой службы… кто их знает…

И они оба подумали, что, может, врут немцы с той баржи и что вдруг, чем черт не шутит, плывут сейчас по реке те, кто был тогда на лодках, может, даже торпедист или канонир.

– «Судьба играет человеком…» – сказал Чижов, заикаясь, – мне доктор петь велел от заикания, я эту песню петь буду, ты слов не знаешь?

– Там дальше так, – сказал начхоз: – «Она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без труда…»

– «Без стыда», по‑моему, – сказал Чижов.

– Может, так, – засмеялся начхоз.

– Ты чего? – спросил Чижов.

– Да я вспомнил, как товарищ Черемыш товарищу Макаревичу шнурки на ботинках бритвочкой подрезал, тот потянет – трах, и ко мне: что у вас, начхоз, за шнурки…

Чижов тоже вспомнил и засмеялся.

– Трах, – смеялся начхоз, – и две половинки, так и не узнал…

Они каждый день говорили о них, как о живых.

– А пластинку про валенки тоже товарищ Черемыш принес, в том смысле, что я на обуви экономил, надо же, придумал, – и покрутил головой, будто опять обиделся.

– Камрад, камрад, си‑га‑ре‑та, – позвал их с носа баржи какой‑то фриц.

– Вот хрен тебе, – сказал ему начхоз.

У пятого причала, где раньше стоял «Бердянск», они отшвартовались. Вода была гладкая, а небо низкое. Домой в часы, когда не ходили трамваи, Чижов ездил на трофейной мотоциклетке. Дом теперь казался огромным и гулким, эвакуированные разъехались, отец без них скучал и писал им письма.

– Валерку не бери, – закричала из окна Тася, – я ему сказала, чтобы он валил!

– Цыц, – рассердился Чижов, – это еще что?!

– Потому что ты не поёшь, – возмутилась Тася, – а треплетесь…

– Пусть басню читает про мартышку и очки, – предложил из другого окна старик Чижов.

– Ему петь, папа, надо, а не читать… тем более ребеночек может усвоить заикание.

– Опомнись, Таисья, – взвыла из‑за сараев невидимая Глафира, – что же, если у кобеля обрубленный хвост, у щенка тоже хвоста не будет?

– Нет, но если кобель, например, немой?!

– Тася, – рассердился Чижов и завел в сарай мотоцикл.

– Немой кобель, тьфу, – прошелестела мимо сарая Глафира с дровами, громко возмущаться не смела. Тася держала семью в строгости.

Тася вышла на крыльцо, она была беременна, на восьмом месяце и от этого и от того, что на ней было теплое пальто, казалась огромной. И Чижов из сарая залюбовался ею. Старик Чижов, в нательной рубахе, тащил за ней зюйдвестку.

– Вы мне еще бурку наденьте, папа, – кокетничала Тася.

Подкатил Валерка с новым черпаком и книжкой.

– Песенник! – крикнул он Тасе. – Но песни исключительно вогульские, – и захохотал: – «Не шей ты мне, маменька, девичий сарафан…»

Глафира поставила Валерке в багажник коляски корзинку с едой.

– Ух, хлама у тебя, – бормотала она, – ух, хлама…

Втроем они двинулись к реке. Пиратка на непослушных ревматических ногах тащился сзади. Было раннее утро, улица спала, лежал туман, и верхушка артиллерийского погреба с бузиной была в тумане.

Шла корюшка, мальчишки и бабы ловили ее с плотиков и лодок. Валерка перебрался с коляски в баркас. Валеркина тетка специально пришла к мосткам, заперла коляску в свой сарайчик и ключ отдала Чижову.

Чижов оттолкнулся веслом, течение здесь было сильное, и мостики, и берег, и Валеркина тетка, болтающая с соседкой, стали быстро удаляться.

– Теперь гляди, – сказал Валерка, – черпак моей конструкции – ручка, можно глушить рыбу, в ручке – зажигалка… здесь резинка, так… чтоб не скользко. У меня Америка патент покупает.

Чижов разгонял баркас по течению, весла ложились ловко, без всплеска, вода билась под днищем, он взглянул на Тасю, увидел, что она зевает и раздражается, мигнул Валерке.

– Ладно, – сказал Валерка, – я буду говорить, а ты мне в ответ пой, как в опере. Я, например, сказал про черпак, а ты: ну и руки, что за руки, а‑а‑а‑ах, не какие‑нибудь крюки…

– Последний раз с тобой еду, – обозлилась Тася, – из любого важного дела ты, Валерик…

– Ладно, – сказал Чижов и засмеялся, – ты «Шумел, горел пожар московский» знаешь? Тогда давай.

– «Шумел, горел пожар московский…» – затянул Валерка, пел он сипло, но неплохо.

– «Дым расстилался над рекой…» – подтянул Чижов.

Неожиданно они услышали сирену и выстрелы из ракетницы, красные ракеты летели в небо и рассыпались там в белом зыбком тумане, потом увидели «Витязя» с медной трубой. Труба чадила черным, как сажа, дымом, «Витязь» мчался от порта на такой скорости, что у носа нависли белые пенные усы, там непрерывно били в рынду, с палубы двое палили из ракетниц. А‑а‑а‑а – выла сирена на «Витязе».

– Пожар, что ли? – испугался Чижов. – Машину запорют, паразиты, под суд пойдут.

Бах! – вспыхнуло на «Витязе», оттуда выбросили в реку бочку с дымом.

Тах‑тах‑тах – били ракетницы.

– Это война кончилась! – вдруг закричала Тася. – Война кончилась, дураки, при чем пожар, это война, война кончилась!..

Чижов бросил весла, волна от «Витязя» ударила в борт, баркас закачался, захлюпал и заскрипел.

– Все, все, – говорила Тася и трясла головой, – все!..

Дым от бочки наполз на них, и она стала кашлять.

– Греби отсюда! – крикнула она Чижову, закрывая рот платком, кашляя и плюясь. – Ребеночку вредно! Ну греби же, что же ты не гребешь!..

Чижов греб изо всех сил, и Валерка греб. Когда они выскочили из дыма и Чижов опять бросил весла, они увидели уходящий вдаль «Витязь», машущие руки, фигурки людей на нем и услышали, как в порту на всех кораблях бьют в рынду. То ли от этого рывка на веслах, то ли от испуга за Тасю Чижов ничего сейчас не испытывал, только усталость.

– Профессор Арьев в Ленинграде делает исключительные операции, – сказал Валерка, голос у него был растерянный, такого голоса у Валерки Чижов не знал, – я написал, и военком поддержал, теперь жду ответа.

– Мамочка, моя мамочка, – говорила Тася, – какое счастье, боже мой, какое счастье…

Чижов смотрел на дым, который несло по реке вверх, и вдруг ему показалось, что если сейчас дым разорвет, то оттуда хоть на минуту появится «Зверь», хлопающий брезентовыми обвесами, с высокой трубой, рындой на полубаке и с милыми, дорогими друзьями на мостике. Подул ветер, дым стало разрывать, понимая, что он сходит с ума, Чижов все смотрел в этот дым, смотрел, как дым уходит.

– Тося! – вдруг закричала Тася, рванулась к нему по баркасу и схватила его. – Там ничего нет, миленький, там нет ничего, не смотри, – и закрыла ему глаза ладонью.

Когда она опустила руку, он увидел промысловый тральщик, на котором галдели бабы из рыбколхоза, плюющуюся остатками дыма бочку на воде и лидер «Баку», гордо расцвечивающийся флагами.